



Аннабел Фарджен

Приключения русского художника

Биография
Бориса Анрепа

Corpus

Аннабел Фарджен

**Приключения русского художника.
Биография Бориса Анрепа**

«Corpus (ACT)»

2016

УДК 75.071.1(929)(470)
ББК 85.143(2)6-8

Фарджен А.

Приключения русского художника. Биография Бориса Анрепа /
А. Фарджен — «Corpus (ACT)», 2016

Борис Васильевич Анреп (1883–1969) – русский художник-монументалист, литератор Серебряного века, ставший английским художником, чьи мозаики украшают Лондонскую национальную галерею, Королевскую военную академию, Вестминстерский собор, Банк Англии... В Великобритании Анреп был близок к группе Блумсбери, художникам Огастесу Джону и Генри Лэму. Он не раз упоминается в “Дневниках” Вирджинии Вулф, стал прототипом художника Гомбо в первом романе Олдоса Хаксли “Желтый Кром” (1921). С Анной Ахматовой Анреп познакомился в 1914 году. До его отъезда в Великобританию они часто встречались. Ахматова посвятила Анрепу более тридцати стихотворений. В последний раз они увиделись в Париже в 1965#м.

УДК 75.071.1(929)(470)
ББК 85.143(2)6-8

© Фарджен А., 2016
© Corpus (ACT), 2016

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	11
Глава третья	19
Глава четвертая	29
Глава пятая	33
Глава шестая	39
Глава седьмая	46
Глава восьмая	50
Глава девятая	54
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Аннабел Фарджен

Приключения русского художника.

Биография Бориса Анрепа

© Ben Anrep, 2016

© Н. Жутовская, перевод на русский язык, 2003, 2016

© ООО “Издательство АСТ”, 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

Глава первая

Семья Анреп

Водиннадцатом веке эстонцы были известными пиратами, наводившими ужас на мореплавателей Балтики. Члены семьи Анреп, по домашним их преданиям, настолько преуспели в грабеже и потоплении судов, что стали среди разбойников и жителей побережья людьми весьма уважаемыми. Некогда на реке Липпе стоял замок и деревня Анрепен. Став рыцарями Ливонского ордена, Анрепы обратили в христианство множество эстонцев-язычников. Принадлежали они и к тевтонскому рыцарству, созданному для защиты Европы от “неверных”, а впоследствии превратившемся в подобие военного клуба. В пятнадцатом веке к фамилии Анреп была добавлена приставка “фон”, шведская же ветвь этой семьи обрела титул графов Эльмптских.

В 1710 году, во время продолжительной Северной войны Фредерик Вильгельм I фон Анреп, капитан шведской армии, попал в плен, был отправлен в Москву, и с того времени его потомки жили в России, служа русским царям в армии или на флоте. Существует предание, что у Екатерины Великой от одного из ее многочисленных любовников родилась дочь, которая вышла замуж за представителя семейства Анреп. Императрица, таким образом, числилась в родственниках. Она пожаловала семье имение в Самарской губернии, которым Анрепы владели вплоть до большевистской революции.

Дед Бориса Анрепа, Константин-Иосиф, был молодым гардемаринем, служившим под придиричивым оком Николая I. В 1852 году он умер от холеры, оставив сына десяти дней от роду. Василий Константинович с младенчества воспитывался матерью и дедом по материнской линии. В написанных по-английски в 1920-е годы мемуарах, адресованных внукам, старик, тогда уже эмигрировавший в Англию, рассказывает о детстве и юности, проведенных в родовом имении, и об учебе в екатеринбургской гимназии.

Когда Васе было пять лет, к нему приставили бывшего несколькими годами старше крепостного мальчика Тиму, чтобы тот оберегал наследника во время детских игр. Вася и Тима вскоре подружились, однако юный аристократ никогда не забывал, что тот ему не ровня.

У нас было много слуг: кучера, конюхи, повара, прачки, несколько горничных, лакеев, дворников. И все они старались угодить мне или меня позабавить, чтобы показать свою любовь, – вспоминал он. – Они часто ссорились между собой, но стоило им завидеть меня, как кто-нибудь кричал: “Молодой барин идет!” Все разбегались, и становилось тихо. Так ко мне пришло смутное осознание того, что я человек важный, а потому я стал кричать на слуг, капризничал, бывал нетерпелив, топал ногами, когда мне что-то не нравилось, – например, когда меня слишком долго умывали по утрам. Я не просил, а требовал. И никто, ни дед, ни мать не останавливали меня, поскольку полагали, что так и следует обращаться со слугами. В России тогда еще существовало крепостное право, крестьяне принадлежали помещикам, которые могли продавать их, как скот, кому угодно, могли жестоко наказывать, отдавать в солдаты, разлучать семьи и заставлять работать с утра до ночи.

Я был вечно чем-нибудь занят. Рано утром мы обыкновенно шли в сад, где росло много ягод и фруктов. Хотя рвать их не разрешалось, искушение было слишком велико, и рот вечно у нас был набит сливами,

вишнями, клубникой или крыжовником. А когда приходил слуга звать к чаю, мы прятались в кустах, откуда после долгих поисков нас и извлекали.

Чаепитие обычно длилось долго, и за чаем дедушка любил меня подразнить, иногда даже до слез, но потом в утешение он нередко обещал пойти со мной в конюшню и посадить в седло. Случалось, он и в самом деле велел седлать коня, садился на него сам и брал меня на руки; потом потихоньку ехал вокруг довольно большого двора. Конюх всегда шел рядом, поскольку лошади были молодые и пугливые. Хорошо было так кататься. Бывало, дедушка сажал меня в коляску, и мы вместе объезжали поля, где кипела работа, но, когда он сердитым голосом распекал работников, мне становилось скучно, а иногда и страшновато. Зато очень нравилось ездить с ним на мельницу – смотреть, как крутятся колеса и бурлит вода.

Почти весь день я проводил с Тимой, который очень любил собак – у нас их было несколько. Сам я поначалу собак боялся, потому что они были большие и казались злыми. К двум, сидевшим на цепи, я не осмеливался и близко подойти. Но Тима очень быстро заставил меня с ними подружиться, так что вскоре они стали участниками наших игр. Цепных собак мы даже отпускали, и они оказались нашими самыми лучшими и веселыми товарищами. С наступлением ночи сторож сажал их на цепь снова, ворча: “Какой же вы, барин, непослушный! Всех собак мне испортите”.

Иногда мы забирались в каретный сарай, где стояли старые экипажи, многими из которых давно уже не пользовались. Большие кареты, тщательно оборудованные для дальних поездок, с кроватями, складными столами и сундуками спереди, сзади и даже на крыше. Козлы были такими высокими, что я мог взбираться на них только с помощью Тимы. Огромные колеса поднимались выше моего роста, а тормоз был такой тяжелый, что мне никак не удавалось с ним справиться. Как весело мы там играли, в какие удивительные путешествия пускались в своем воображении!

А иногда кучер брал нас в конюшню, курил трубку и рассказывал длинные истории о лошадях – каких мы держали раньше, где их покупали и какие они были умные и сообразительные. Лошади между тем жевали сено, время от времени поворачивали головы и смотрели на нас своими красивыми глазами, и мне так хотелось погладить их, поцеловать в мягкую морду. Но об этом не могло быть и речи. Кучер не разрешал нам даже близко подходить: “Вы с ума сошли, барин, я и сам-то подхожу к ним с опаской”.

Я хорошо помню одного коня по имени Белоногий, который очень любил музыку. Когда мать играла на рояле у открытого окна, конь этот рысцой подбегал к дому, клал голову на по-доконник и долго-долго так стоял. Можно было трепать и гладить его по голове – он не обращал никакого внимания. Когда музыка умолкала, он медленно шел восвояси.

Мне очень нравилось кататься на лодке, ходить в лес за грибами. Наша усадьба стояла на берегу довольно широкой реки, а на другой стороне был большой лес, раскинувшийся на многие версты. Большая его часть принадлежала деду. Собираясь на пикник, мы серьезно готовились. Вперед на телеге посылали самое тяжелое – два больших самовара, кастрюли, сковородки и прочую посуду. Припасы грузили на другую повозку, и еще одна везла поваров и слуг. Сколько еды брали на пикник! Хлеб разных сортов, пирожные, печенье, пироги, колбасы, ветчина, курицы, варенье, чай – всего и не вспомнишь. Сами мы отправлялись часа через два.

Я сгорал от нетерпения и всех торопил, повторяя: “Ну когда же, когда же мы поедем?” – “Будешь приставать, вообще не поедешь”, – отвечали мне, и я чуть не плакал.

...Наконец все готовы. Мы садимся в большую лодку с четырьмя гребцами в красных рубахах, дедушка – у руля. Вся семья и многочисленные слуги – каждый с корзинкой для грибов – заняли свои места. Лодка отчалила, собаки, заливаясь лаем, стали бегать вдоль берега. Я принялся их звать, и две, бросившись в воду, поплыли следом. Дедушка рассердился, но я упросил взять собак с собой. Тогда он велел остановиться, чтобы втащить их в лодку. Собаки тут же стали отряхиваться и обрызгали всех вокруг, но люди только смеялись и гладили их.

Целый час мы плыли до места, и я был счастлив, когда наконец ступил на берег. Мы пошли по лесу, разбредясь кто куда и собирая грибы. Я не слишком-то много находил, но стоило мне увидеть хотя бы один гриб, как я кричал от восторга и бежал к матери показать свой трофей. Очень скоро я утомился, и меня вместе с Тимой отправили отдохнуть в маленькую сторожку. Собаки бежали следом. Сторожка стояла на поляне, в ней было очень удобно. На полу лежали ковры и подушки, полным ходом готовился ужин. Я так устал, что сразу же лег и через несколько минут уже спал крепким сном.

Проснувшись, я обнаружил, что солнце садится. Мне захотелось есть. Однако из лесу еще никто не пришел. Мне стало скучно, и я стал звать: “Тима! Тима!” Но Тима исчез – снова пошел за грибами. Вскоре я услышал дедушкин голос, и постепенно все собрались в сторожке. Грибов было видимо-невидимо. Каждый хвастался, что нашел больше других. Потом уселись за стол, и, поскольку все были усталые и голодные, ужин затянулся. Слуги ели то же, что и мы, и пили одну чашку чая за другой – чай в те времена был для них редкостью, особенно с сахаром и печеньем. Все были веселы и довольны, принялись петь и готовы были даже танцевать. Но солнце опустилось уже совсем низко, пора было возвращаться домой. Мы снова плыли в лодке, теперь нужно было грести против течения, из-за чего обратный путь оказался дольше. Я был так утомлен, что не успела няня меня раздеть, как я уже видел десятый сон.

Еще вспоминал Василий Константинович горькое негодование деда, когда сосед купил борзую, а затем обменял ее на крепостную девушку. “Негодяи! Как они могут менять людей на собак! Я бы выпорол их обоих. А еще называют себя дворянами!” – воскликнул он и так стукнул кулаком по столу, что загремела посуда.

Крепостное право отменили, когда Васе было девять лет. Тогда же его мать вышла замуж вторично – за поляка по фамилии Жутокинский, управляющего Государственным банком в Екатеринославле. В этом городе мальчик впервые увидел нарядно разодетых украинцев в рубахах с цветной вышивкой, в широких шароварах, сапогах, высоких серых каракулевых шапках и небрежно наброшенном на плечо армяке. Бород они не носили, но у всех были потрясающие огромные усы. В руках держали длинную палку или плетку.

От второго брака у матери Василия было шестеро или семеро детей. Все, кроме последнего, умерли во младенчестве. Последней была Ева, чье спасение приписывалось чудодейственному влиянию старушки-странницы, однажды постучавшейся в дверь к Анрепам и получившей подаяние.

Учился Василий хорошо. Он зубрил латынь, любил плавать и, несмотря на царившие в городе антисемитские настроения, дружил с двумя еврейскими мальчиками.

Однажды, гуляя у реки, он услышал, как находившиеся в лодке три маленькие девочки зовут на помощь. Лодка перевернулась. Василий снял сапоги и бросился в реку. С большим трудом ему удалось спасти одиннадцатилетнюю девочку, но две другие утонули. Позже его наградили медалью. Он пишет: “Я получил много орденов и звезд, иные из которых были очень почетными, но ни одной награде я не был так рад, как этой медали”.

У мальчика были не только хорошие способности, но и внушенные матерью высокие нравственные принципы. Она рассказывала ему о невероятных жестокостях старой системы. “Слава богу, – сказала она, – я дожила до тех счастливых времен, когда государь избавил Россию от позора крепостничества”. Возмущался Василий и преследованиями евреев. Позднее большое влияние на его нравственность оказало знакомство с судопроизводством, где царили бесправие, несправедливость и коррупция. Он всегда сочувствовал обвиняемым. Реформы понемногу набирали силу, и он решил стать адвокатом.

В конце своих коротких мемуаров Василий Константинович пишет внукам: “Каким я был в семнадцать лет? Я был неглупым, способным юношей, твердо намеревался использовать все свои дарования на благо соотечественников и к этому своему решению относился очень серьезно”.

Борис Васильевич Анреп излагает, впрочем, несколько иную версию обращения отца к высоконравственной жизни. Начинал Василий Константинович так же, как многие молодые аристократы, имевшие большие деньги, которые с легкостью транжирили. Он, как Вронский из “Анны Карениной”, участвовал в скачках; он играл, много пил, болел сифилисом. Его близкий друг Петр Шуберский вел себя со столь же сумасбродным эгоизмом.

Но однажды В. К. (как его называли в зрелые годы и как мы будем звать его далее) встретился с госпожой Гейден, рыжеволосой еврейкой, которая спросила его, почему такой умный молодой человек прожигает жизнь вместо того, чтобы использовать свои таланты на благо общества. “Вам должно быть стыдно! Вы – Анреп! А ведете такую беспутную жизнь!”

С этого часа жизнь В. К. круто изменилась. Он отправился в Гейдельбергский университет и получил положенные шрамы на лице – результат дуэлей. Стал доктором Санкт-Петербургской Военно-медицинской академии, основал первую женскую больницу, был директором основанного им же Института Пастера. Одновременно с Зигмундом Фрейдом он открыл обезболивающие свойства кокаина, который стали использовать при глазных операциях. Судя по всему, В. К. также волновали вопросы женского равноправия, поскольку он содействовал организации первого женского медицинского училища и делал многое, чтобы обеспечить женщинам возможность получения высшего образования.

Петр Шуберский, товарищ его бесшабашной юности, ставший финансистом, женился на восемнадцатилетней Прасковье Михайловне Зацепиной. От этого брака родились двое сыновей – Владимир в 1877 году и Эраст в 1880#м. Супруги вращались в кругу веселых кутил. Обнаружив, что его состояние растрачено, Шуберский пустился в недобросовестные спекуляции с деньгами своих клиентов, а потом повесился в бане. Такова версия Бориса Анрепа. Однако, по воспоминаниям внука Шуберского Андрея, дед лишил себя жизни более благородным способом: застрелился.

В предсмертном письме Шуберский просил своего старого друга В. К. позаботиться о жене и малолетних сыновьях. Просьбу покойного добродетельный доктор исполнил в полной мере, ибо два года спустя, в 1882 году, женился на вдове и вырастил ее детей. Поскольку сам В. К. рос без отца, то, наверное, испытывал сострадание к бедным сиротам. Относился он к ним так же, как к собственным сыновьям, родившимся в 1883 и 1889 годах. Прасковья Михайловна постоянно твердила старшему сыну Володе, что он всегда должен помнить доброту своего отчима. Все, что удалось мне узнать о матери Бориса, свидетельствует лишь

о том, что она была женщиной строгих правил с довольно тяжелым характером. На фотографиях она туго затянута в корсет, выглядит чопорной и властной.

Женившись, В. К. основательно занялся своей карьерой, вызывавшей у окружающих неизменное уважение. Служил императору, являясь одновременно сторонником либеральных идей и консервативных норм поведения, преобладавших в конце XIX века среди многих представителей интеллигенции и обеспеченных высших классов. В отличие от жены, он не принял православия, полагая, подобно Толстому, что существующая Церковь служит угнетению народа. Как и Толстой, В. К. признавал необходимость крестьянского образования, хотя никогда не доходил до крайностей толстовского идеализма.

Глава вторая

Детство и юность

Борис Васильевич фон Анреп родился в Кузнечном переулке в Санкт-Петербурге 28 сентября 1883 года. Спустя два года его отец, специалист по фармакологии, был переведен в Харьковский университет профессором медицины, а Бориса оставили в столице на попечении бабушки по отцовской линии. Бабушка эта происходила из семьи морских офицеров, имевшей земли в Черниговской и Подольской губерниях. Расположенные там имения впоследствии, по всей видимости, были переданы В. К. Считалось, что внешне Борис напоминает своего деда, погибшего во время службы на флоте, – человека крупного, с массивными ногами и руками, светловолосого и сероглазого.

Через некоторое время при содействии своего друга, принца Ольденбургского, В. К. получил назначение в Петербург для организации института экспериментальной медицины. Были устроены просторные лаборатории и помещения для животных. Квартиры сотрудников также располагались при институте. Семья поселилась в директорском флигеле, где в 1889 году у Прасковьи Михайловны родился последний сын, Глеб. Лет через пять отношения между В. К. и принцем стали натянутыми, былая симпатия постепенно исчезла.

В своих коротких воспоминаниях о Борисе он пишет:

Принцу Ольденбургскому нравилось совать нос в дела моего отца, в результате чего между ними произошло несколько ссор. Перед отъездом в Германию с целью покупки различных приборов для института отец отдал матери ясное распоряжение прислать ему в Германию телеграмму в случае, если принц Ольденбургский в его отсутствие отменит какое-нибудь из его указаний. Когда это произошло, моя мать поступила, как ей было сказано. Отец подал прошение об отставке и велел матери покинуть дом в двадцать четыре часа, что она и сделала¹.

Временно Прасковья Михайловна с детьми переехала в квартиру на Загородном проспекте, найденную семейным плотником и мебельщиком.

К этому времени она, будучи дамой провинциальной, не слишком хорошо образованной, но очень нетерпеливой, уже начала сама давать Борису уроки. Как и следовало ожидать, эти занятия большим успехом не увенчались.

Когда я был еще совсем маленьким мальчиком, – пишет Борис, – мать сказала нам, своим сыновьям: “Мне не нужна ваша любовь. Мне нужно почтение и послушание”. Именно это она и получила, – с насмешливой улыбкой рассказывал Борис. – Она таскала и драла нас, детей, за уши очень больно! Если мы плохо себя вели, жаловалась отцу, который сидел в кабинете. Но когда мы повзрослели, став высокими юношами, гораздо выше ее, и она начинала щипать нас за уши, мы только смеялись и целовали ее. И тут она уже ничего не могла поделать.

Поступив в гимназию, Борис закончил подготовительный класс через две недели. Все дети Прасковьи Михайловны учились легко, трое старших сыновей закончили гимназию с серебряными медалями, а младший Глеб – с золотой. Конечно, мать была в восторге от таких успехов и хранила медали в коробочке, выложенной лиловым бархатом, – три сереб-

¹ Оригинал этого отрывка по-русски не сохранился. Здесь и в следующей цитате приводим “обратный” перевод с английского.

ряные медали размещались вокруг золотой, располагавшейся в центре. Коробочка всегда стояла на туалетном столике в ее будуаре.

На взлете своей карьеры профессор Василий Константинович фон Анреп стал членом Третьей Государственной Думы (1907–1911), состоявшей из девяноста восьми выбранных членов и такого же количества назначенных императором. С его умом и организаторскими способностями В. К. являлся одним из наиболее полезных представителей правящего класса. Но из-за честности и присущего ему чувства справедливости он едва ли мог рассчитывать занять сколько-нибудь значительное положение при любом русском режиме.

В. К. выстроил себе в Петербурге большой дом по адресу: Лиговский проспект, 3/9. В здании с внутренним двором семья занимала бельэтаж. Кое-что из убранства комнат было привезено из Германии – бронзовые дверные ручки, танагры из Дрездена и ренессансные драконы. На стенах были немецкие золотые обои, тисненные черно-коричневыми драконами, все двери двустворчатые, на потолках изысканная лепка, а панели огромного буфета украшены собственноручно Василием Константиновичем, выжегшим узор на дереве раскаленной докрасна кочергой. Семейная жизнь Анрепов была устроенной, удобной и совершенно лишенной сантиментов.

Дома четверо сыновей пребывали в основном на попечении нянюшек и гувернеров, для изучения языков всегда нанималась француженка, немка или англичанка. Уроки частенько делали в спальне, столовой или даже в комнате гувернантки, поскольку при двенадцатилетней разнице в возрасте между старшим и младшим сыном приходилось подстраиваться под различные режимы дня. Серьезное классическое обучение в гимназии обычно начиналось, лишь когда мальчикам исполнялось одиннадцать. Оно длилось восемь лет и заканчивалось экзаменами. Если экзамены сдавались успешно, можно было поступать в университет.

Как и любой в ту пору работник умственного труда или поглощенный службой дворянин, домашними делами и воспитанием детей В. К. не занимался, о чем впоследствии сожалел: “С годами я все больше любил свою семью, и теперь мне бывает грустно, что уделял сыновьям так мало времени”.

К семи годам Борис уже много читал. Он вспоминает, как книга о странных обычаях некоего индейского племени вызвала у него первое запомнившееся эротическое переживание: Глеб лежал на руках у кормилицы, и Борис, увидев ее обнаженную грудь, бросился на молодую женщину и стал, подражая индейцам, эту грудь целовать. Женщина развеселилась и, как вспоминал Борис, “не стала отказывать себе в этом маленьком удовольствии”.

Была еще одна няня, немка, которая однажды, когда Борису велели пройти через темный зал к родителям, испугала его, сказав: “Niemand ist da”². Борис подумал, что “niemand” – это такой человек, и вопил, пока на помощь не прибежала мать.

² “Там никого” (нем.).



Дом родителей Бориса Анрепа.

Его первый настоящий грех надолго оставил в нем чувство вины. Он сидел рядом с гувернанткой, вышивая крестом, и, наверное, оттого, что занятие это ему надоело, принялся плакать. Прасковья Михайловна поспешила узнать, в чем дело.

“Что случилось? – спросила она мальчика. – Тебя ударили?” Всхлипывая, Борис сказал: “Да”.

Повернувшись к гувернантке, мать воскликнула: “Убирайтесь!”

Бедная гувернантка пыталась протестовать, но мать Бориса ответила: “Семилетние мальчики не лгут!”, сам же Борис продолжал настаивать, что его побили.

Гувернантка пожаловалась старшим детям, но ее все-таки уволили.

Второе преступление, по воспоминаниям Бориса, касалось трех рублей, которые ему вместе с большой коробкой шоколадных конфет всегда на день рождения присылала бабушка. В субботу днем после урока музыки Борис зашел по случаю получения бабушкиного подарка в кондитерскую лавку. Незнакомый гимназист постарше предложил купить пирожных, что и было сделано. Потом он предложил зайти в другую кондитерскую, после чего попросил дать ему взаймы рубль. Тут Борис заметил, что на часах уже половина девятого. А дома всегда обедали в шесть. Он помчался домой – мать была уже в истерике. О пропаже ребенка успели сообщить в полицию. Борис, оправдываясь, сказал родителям, что бегал смотреть, куда поехали пожарные.

Отец не поверил в эти выдумки и хорошенько его выдрал. Если профессору случилось разгневаться по-настоящему, он внушал сыну подлинный ужас. Подобные Василию Константиновичу, серьезные, высоконравственные натуры одним своим желанием привить ребенку безупречные моральные нормы способны запугать его так, что тот начинает врать уже из страха. Повзрослев, Борис стал придерживаться собственных моральных норм, не все из которых отец бы одобрил.

Во время летних каникул семейство снимало дачи в окрестностях Петербурга, пока наконец В. К. не купил участок земли на Волге, неподалеку от того места, где жила сестра Прасковьи Михайловны тетя Наташа. У тетки была собственность в Ярославской губер-

нии – старая усадьба Емишево, где все еще сохранилось здание тюрьмы для крепостных. Муж тети Наташи был предводителем местного дворянства, и потому Прасковье Михайловне хотелось жить поблизости. Кроме жилья для прислуги, В. К. построил большой дом для своей семьи, назвав его “Основа”. В фундамент дома были заложены расколотые гранитные валуны, собранные по берегам Волги. Дача, построенная из сосновых бревен, была большой и просторной, с широкими окнами, крашеной железной крышей, балконами, верандами и гостиной, окна которой выходили на реку. Отштукатуренные комнаты были обставлены изящно, как в городском доме.

В. К. высадил целую аллею, ведущую к Волге, а кроме того, отдельно посадил березы, осины, сосны и рябины. У берега реки была установлена на якоре специальная клеть, как это делалось в Германии, чтобы мальчики могли плавать в полной безопасности. На другой стороне реки, бывшей в том месте шириной в полмили, располагался город Романов со множеством башен и луковок старинных русских церквей. Теперь четверо братьев могли проводить три месяца летних каникул в Основе.

Среди прислуги был один *homme à tout faire*³, который обыкновенно отправлялся в Романов за покупками. Однажды он приобрел большую деревянную лохань глубиной в метр и диаметром в два метра, какие в те времена использовались в крестьянских хозяйствах. Сложив туда все покупки, он поставил лохань на телегу, в которой приехал из города. Тут вдруг началась гроза, и, накрыв лохань брезентом, слуга зашел в местный кабачок. Когда гроза стихла, наш герой уже начинал клевать носом, а потому привязал вожжи к телеге и, целиком положившись на лошадь, которая знала дорогу домой, сам улегся вздремнуть в ту же самую лохань. Дорогу из Романова до Основы пересекали два ручья, но кто мог предположить, что от сильного дождя они превратятся в бурлящие потоки! Спустя два часа жильцы Основы увидели наконец возвращающуюся домой лошадь, но с ней не было ни лохани, ни возницы. Немедленно организовали поисковые партии, уже готовые выступить, как вдруг кто-то заметил, что вниз по Волге, величественно покачиваясь на волнах, плывет лохань. Ее подтащили к берегу и внутри обнаружили свернувшегося калачиком и похрапывающего слугу вместе со всеми покупками.

Каникулы в Основе были счастливым временем. Юноши росли, а местные крестьянки, как выяснилось, отличались поведением весьма вольным. Более того, среди них считалось даже почетным переспать с кем-нибудь из молодых Анрепов или Шуберских.

Осенью, когда семья уезжала в город, окна закрывали ставнями, которые закручивались винтами. Но однажды в дом забрались грабители и некоторое время там жили, превратив спальню Прасковьи Михайловны в уборную. Вскоре, однако, они были пойманы – кто-то в городке заметил на одном из преступников ботинки В. К.

В 1899 году В. К. был назначен попечителем Харьковского учебного округа, и Анрепы вновь переехали на юг, в Харьков. В качестве жилья им предоставили дворец, построенный Потемкиным для Екатерины Второй во время поездки императрицы в Крым в конце XVIII века. Мебель с тех пор не меняли, но Прасковья Михайловна привезла с собой собственную кровать и некоторые предметы убранства будуара, чтобы создать необходимый уют. Это, несомненно, был мудрый шаг, поскольку в эпоху Екатерины было принято больше заботиться о великолепии, чем об удобствах. Стулья во дворце оказались жесткие, а в края золотых тарелок были вставлены бриллианты и бирюза. Этот стиль не вполне отвечал тем представлениям о домашнем уюте, в каком хотели бы жить Анрепы в конце XIX века. Правда, помещения были очень просторные, и Борису и Глебу рядом со спальнями даже отвели собственные большие кабинеты.

³ Мастер на все руки (*фр.*).

Старшие сыновья, Володя и Эраст, остались в Петербурге, поскольку оба были студентами университета. Борис начал ходить в харьковскую гимназию, где учился боксу, фехтованию и танцам – чаконе, падекатру, польке; Глебу же взяли гувернантку, англичанку по имени Эми Беатрис Данбар Котер.

Харьковская жизнь Бориса была отмечена романтической, невинной любовью к гимназистке Дине Ждановой одних с ним лет. Любовь эта вызвала большую тревогу у родителей обоих молодых людей. Поэтому в 1899 году с помощью Эми Данбар Котер была организована поездка на каникулы в Англию под предлогом совершенствования в английском языке. Среди образованных людей в России кроме французского, на котором говорили все представители высшего класса, было принято обучать детей английскому или немецкому, а чаще и тому и другому. В Англии Борис жил у пастора церкви Грейт Миссенден господина Нельсона и катался на велосипеде по Бакингемширу, останавливаясь в пабах, чтобы выпить сидру, которого раньше никогда не пробовал.

Дину Жданову отправили в Швейцарию.

Наиболее значительной стала дружба Бориса с поэтом Николаем Владимировичем Недоброво, который тоже потерял голову из-за хорошенькой Дины. Вот что рассказывает Борис о своем первом впечатлении от знакомства с Недоброво в гимназии⁴:

⁴ Следующий далее текст приводится в сохранившемся русском оригинале.



Борис Анреп в молодые годы.

Класс был многочисленный, и инспектор посадил меня в передний ряд парт, что считалось привилегией. Парты были на двух учеников каждая, и рядом со мной был посажен некий хорошо воспитанный фон-дер-Лауниц, сын местного предводителя дворянства, очень милый, но не очень преданный школьным занятиям, будущий офицер, славно погибший в Первую мировую войну.

Ученики смотрели на меня с интересом, отчасти потому, что я был новичком из столичного Петербурга, а также потому, что я был сыном попечителя. Это любопытство было мне неприятно и заставило меня замкнуться – тем более что компания была весьма разношерстная.

Шел урок истории – пережевывание освобождения Греции. Меня мало занимало то, что говорил учитель, и я был занят более интересным делом: читал под партой “Prometheus Unbound” Shelley⁵. Я увлекался тогда этим

⁵ Драма П.-Б. Шелли “Освобожденный Прометей” (1820).

английским поэтом и рассчитывал, что учитель, который стоял в проходе между партами у задней стены, не заметит моего “преступления”. Вдруг я услышал:

– Анреп, назовите греческого национального героя, который сыграл большую роль в освобождении Греции.

Я встал, отупев, но смутно вспомнил знаменитое имя.

– Падокордия! – объявил я громко и уверенно.

Общий хохот в классе встретил мое заявление. Учитель нахмурился:

– Рекомендую вам слушать меня более внимательно. Недоброво, может быть, вы ответите на мой вопрос?

Изящный ученик с последней парты первого ряда встал, улыбаясь:

– Каподистрия – он сыграл большую роль во время восстания греков против турок. Родился на Корфу в 1776 году, был некоторое время диктатором возрожденной Греции, но был убит политическими врагами в 1831 году.

– Прекрасно, – сказал учитель. – Я вам ставлю пятерку.

Урок кончился. Ученики бросились к выходу из класса.

Сконфуженный, я остался на своем месте и вынул английскую книгу из-под парты. Недоброво подошел ко мне, приятно улыбаясь.

– Да вы гений, вы нас всех развеселили.

Я вспыхнул.

– Вы читали, я вижу, английскую книгу. Позвольте познакомиться.

– Я не слушал, я читал Шелли. “Падокордия” – лучшее, что я мог придумать.

– Это было великолепно! Я тоже люблю Шелли, но не знаю английского языка, читаю в переводах. Пойдемте завтракать.

Старушка в коридоре сидела за прилавком и продавала чай, бутерброды, паюсную икру, пирожки с мясом и капустой. Мы разговорились.

– Зачем вы приехали в Харьков? Я только и мечтаю перебраться в Петербург. Я должен был бы быть в седьмом классе, но потерял целый год, заболев воспалением мозга, и доктора запретили мне всякие умственные занятия. Вел растительный образ жизни. Теперь воскрес.

Разговор перешел на литературные темы. За все время нашего знакомства и последующей дружбы это был наш главный предмет разговоров. Недоброво меня сразу прельстил и своим изящным видом, и прекрасными манерами, и высоким образованием. Он заставлял меня задумываться и высказываться о вещах, о которых я раньше и не думал. Со своей стороны, он любил анализировать и свои чувства, и поэзию, и философию, а если критиковал мои взгляды, то делал это всегда очень деликатно и очень умело заставлял меня принимать свои логические заключения и взгляды, ждал наших встреч, и каждая являлась для меня событием.

В первый же день нашего знакомства Недоброво ждал меня при выходе из гимназии.

– Нам по дороге, пойдемте вместе.

Мой сосед в классе, Лауниц, сказал мне, что Недоброво считает себя головой выше всех товарищей и мало с кем говорит. Он на это имел полное право. Он недостаточно знал иностранные языки, но иностранная литература была ему хорошо знакома, и он поражал меня острыми

замечаниями об известных писателях. Я чувствовал, что я не на его высоте, и старался не ударить лицом в грязь. Я стал искать его дружбы, и мне льстило, когда я почувствовал, что и он ищет моей. Мы становились неразлучны. Обыкновенно он провожал меня до дому.

– До завтра, Борис Васильевич.

– До завтра, Николай Владимирович.

Мы всегда были на “вы” и на “имя-отчество”.

Жена ректора университета проф. Лагермарк при нашем приезде в Харьков познакомилась, конечно, с моей матерью, которая несколько времени спустя, по моем возвращении из гимназии, встретила меня взволнованная и сказала, что хочет поговорить со мной серьезно:

– Madame Лагермарк только что была у меня и сообщила, что ты дружишь с неким Недоброво, вот что она говорит: “Ваш сын в плохой компании. В прошлом году мать Недоброво (я с ней иногда встречаюсь) пригласила меня и моих двух сыновей (которые дружили с Недоброво в гимназии) на чай, так как это были ее именины. Можете себе представить, что во время общего разговора на какое-то замечание его матери, несогласное с его точкой зрения, Недоброво громко и дерзко крикнул:

– Замолчи, дура, ты в этом ничего не понимаешь!

Я была поражена, возмущена, мои сыновья были ошеломлены. Его мать вышла из комнаты. Мы поднялись и ушли. Я запретила своим сыновьям видеться с Недоброво. Я считаю, что должна вас предупредить”.

Я трясся от негодования.

– Она фискалка и сплетница; наверное, дело было не так, а кроме того, в прошлом году Недоброво был болен воспалением мозга, и, должно быть, нервы его были не в порядке.

– Как знаешь, – ответила мама, – можешь с ним видеться где хочешь, но чтобы в моем доме его не было.

За два года, что я жил в Харькове, я никогда не приглашал Недоброво к себе, также и он отвечал тем же.

М-те Лагермарк еще добавила: “Мать Недоброво живет, сдавая комнаты постояльцам, а, кажется, отец Недоброво – уездный полицейский чиновник или что-то вроде этого – с женой, говорят, не живет. А сестра Недоброво, очень красивая женщина, живет где-то актрисой, а вы знаете, Прасковья Михайловна, что это значит: актриса!”

У Недоброво была еврейская кровь, что, возможно, являлось еще одним источником предубеждения – антисемитизм тогда в стране процветал. Евреям, за исключением лишь очень богатых людей, не разрешалось жить ни в Москве, ни в Петербурге.

Каждый день Борис шел из гимназии домой вместе с Недоброво и, подчиняясь приказу матери, прощался с ним у дверей Екатерининского дворца.

Глава третья

Выбор карьеры

Когда В. К. был назначен попечителем Петербургского учебного округа, семья вернулась в свой столичный дом на Лиговском проспекте. Здесь профессор с женой прожили вплоть до 1918 года.

В 1902 году Борис поступил в Императорское училище правоведения. В этом заведении, рассчитанном на ограниченное число дворянских детей, не только обучали юриспруденции – оно было определенной ступенью в гражданской карьере, сулящей в будущем министерское кресло. И Борис взялся за дело – красивый, живой, светский, остроумный молодой человек, исполненный энтузиазма. Примерно в это же время Николай Недоброво, уже студент Петербургского университета, познакомил его с художником Дмитрием Семеновичем Стеллецким. Стеллецкий первоначально был скульптором и театральным художником, потом стал специалистом по древним иконам. Борис посетил его мастерскую, и молодые люди сразу же подружились. Стеллецкий был представлен родителям, всех очаровал, рассмешил и в дальнейшем пользовался неизменной симпатией. Он вылепил бюсты Глеба, Бориса, Недоброво и – в натуральную величину – фигуру В. К., прогуливающегося с собачкой. Однажды В. К. дал скульптору в долг 10 тысяч рублей, которые к 1918 году так и не были возвращены. Профессор упоминает об этой сумме в своем завещании, присовокупив к ней еще 500 рублей в качестве процента.



Борису Анрепу 18 лет, 1901 год.

Среди друзей Анрепов было семейство Девелей, супружеская пара с тремя дочерьми, Ольгой, Ниной и Татьяной. Младшая, Татьяна, была примерно одних лет с Глебом. Их отец умер, когда дочери были молодыми девушками. На следующий год после его смерти по пути из Петербурга в Основу Борис заехал навестить госпожу Девель, жившую с дочерьми на своей даче на берегу Волги. Они прекрасно провели время, и, когда после ужина стало темно, госпожа Девель за самоваром предложила Борису остаться у них переночевать – она предоставит ему свою комнату, а сама будет спать с Таней. Борис принял приглашение, но, когда вошел в комнату госпожи Девель, его вдруг охватило такое жуткое предчувствие несчастья, что он не смог там остаться и, придумав какой-то невразумительный предлог, объявил, что вынужден немедленно уехать. Бегом добежав до пристани, он едва успел сесть на последний пароход до Основы.

В ту ночь на дачу Девелей забрались грабители, и мать, вернувшаяся к себе в комнату, была убита в постели.

Хотя Борис не склонен был преувеличивать свои экстрасенсорные способности, он всегда говорил, что ясновидение спасло его от ранней смерти.

Убийцами оказались молодые монахи из близлежащего монастыря, по ночам занимавшиеся грабежом и пропивавшие награбленное. Андрей Шуберский, сын Владимира, пишет в своих воспоминаниях, что все преступники были приговорены к повешению, и этот приговор нельзя было заменить даже сибирской каторгой.

Осиротевшие девушки стали теперь частью семьи Анреп. В. К. предоставил им отдельное жилье в своем доме, этажом выше тех комнат, что занимала его собственная семья, подновил его, и девушки, поскольку они были уже студенческого возраста, могли вести относительно независимый образ жизни.





Борис Анреп с Дмитрием Стеллецким в студии Стеллецкого.

Какими бы ни были намерения Бориса относительно будущей карьеры, он был уверен, что как светский человек должен завести роман с балериной. Так было принято в аристократических кругах. Самым известным примером был роман Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. В балетной труппе Мариинского театра Борис выбрал красивую девушку, восхищавшую его своим сильным и грациозным телом, – Целину Спрышинскую. Она была *coryphée*, что означает: ведущая танцовщица кордебалета или исполнительница небольших сольных партий. Для начала прямо в театре молодой девице было послано письмо со стихами.

Но оказалось, как это нередко случается с балеринами, девушка не была готова к тайной любовной связи, и ответ, к разочарованию Бориса, пришел от ее матери. Он содержал приглашение посетить их дом. Спрышинские были почтенными поляками-католиками.

Вскоре между Борисом и Целиной завязалась дружба, и по вечерам, когда родителям Бориса не нужен был экипаж, молодой человек договаривался с кучером, чтобы тот ждал его на углу Лиговского проспекта, а затем к концу представления вез до служебного входа Мариинского театра. Оттуда в назначенный час появлялась Целина, садилась в экипаж, и парочка ехала ужинать в квартиру госпожи Спрышинской. Так продолжалось целую зиму.

В письме к Борису от 5 января 1968 года Таня Девель вспоминает, как он представил ее своей балерине:

На тему, как иногда неожиданно совсем забытое воскресает, могу рассказать: недавно в связи с просьбой одной знакомой балерины мне пришлось заглянуть в издание “200 лет Ленинградского хореографического училища: 1738–1938 гг.” и случайно наткнуться на Спрышинскую Целину

Владиславовну – мигом вспомнилось, как тебе почему-то пришла фантазия меня с ней познакомить (что я, конечно, одобрила, как одобряла тогда все, исходящее от тебя). Не помню уж, на каком представлении в Мариинском театре мы с тобой улизнули в антракте из чинной ложи Прасковьи Михайловны, какими-то неведомыми путями вскарабкались куда-то наверх, где на повороте стояла “она” и произошло знакомство; а затем я добросовестно переписывала в тетрадь твои стихи, верно, ею вдохновленные:

Зачем слова? Я выше их,
Раз и в немых движениях
Вольна я высказать себя.

Борис сделал предложение, которое было незамедлительно принято. Но, к счастью, благодаря оставшимся крупянам здравого смысла, он вскоре объяснил невесте, что не может жениться, пока не станет профессором. Целина согласилась ждать. Борис подарил ей кольцо с искусственным рубином, а она ему – тяжелый серебряный браслет.

К тому времени Борис, чье сердце всегда было открыто новым чувствам, без памяти влюбился в гувернантку Глеба Эми Беатрис Данбар Котер, которая вскоре уехала в Мексику, чтобы выйти там замуж за горного инженера. Поскольку экзамены в училище правоведения были сданы успешно, Борис захотел последовать за гувернанткой. К его немалому удивлению, В. К. согласился оплатить путешествие. Возможно, дело было еще и в том, что, заподозрив какое-то новое увлечение Бориса, В. К. решил отослать его подальше за границу, ибо это средство уже помогло однажды, когда шестнадцатилетний мальчик влюбился в гимназистку.

После долгого путешествия на корабле и в поезде Борис прибыл в Мексику и в неприятном кабачке маленького городка был встречен мужем гувернантки. До серебряной шахты, где жила семья, они должны были теперь два дня ехать на муле. Дорога шла по труднопроходимой местности, и горняк предупредил Бориса, чтобы тот не пытался управлять своим мулом на неровных и крутых тропах: мул лучше знает, как идти. Ничего более страшного молодому русскому испытывать еще не приходилось. Впрочем, на шахту они прибыли целыми и невредимыми. Место было ужасное – убогое и грязное. Всюду сновали крысы. Работали там нищие мексиканские индейцы. И все это вовсе не походило на романтический пейзаж, который Борис рисовал в своем воображении.

Почти сразу же Борис заболел желтухой. Он пролежал несколько месяцев весь желтый и беспомощный среди пустынных диких гор и шахт, предоставленный заботам гувернантки. Наконец худой как щепка он уплыл назад в Россию, излечившись и от болезни, и от любви.

После мексиканских приключений Борис написал Целине, что с их помолвкой ничего не выйдет, и та вернула ему все письма и подарки. Больше Борис ее не видел. Впоследствии она вышла замуж за танцора Иосифа Кшесинского, брата возлюбленной Николая II.

Когда я спросила Бориса в конце его жизни, каким был Мариинский балет в дни его юности, он ответил с пренебрежительной улыбкой: “Развлечение для детей и гене-ралов”.

Между тем Глеб, любимый сын В. К., собрался, следуя по стопам отца, избрать своим поприщем медицину. Однако в самом начале занятий он был захвачен опасным увлечением: влюбился в средних лет даму-медиума, так что, кроме любви, связали их и совместные спиритические сеансы. Кроме того, сильное впечатление на Глеба произвел некий американский “пророк”, внушавший своим русским последователям, что все, сказанное в Библии, должно сбыться буквально. Глеб подчеркнул то место в Апокалипсисе, где говорится об огнедышащем драконе, и написал на полях: “автомобиль”. Потом он занялся истязанием плоти.

Вы только представьте, – восклицал Борис, когда рассказывал эту историю, – однажды поздно вечером я зашел к нему в комнату поговорить и услышал странное позвякивание. Задираю его ночную рубашку, и что я вижу? Цепи под власяницей!

Спустя некоторое время отношения с любовницей у Глеба испортились. Его охватили тоска и отчаяние, поскольку он совершенно не занимался учебой и с приближением экзаменов стало ясно, что он провалится.

Однажды вечером, когда родителей не было дома – они часто играли с друзьями в бридж, – Борис услышал выстрел. Он бросился в комнату брата и увидел, что Глеб лежит, наполовину свесившись с кровати, а на груди сквозь рубашку сочится кровь. Револьвер валялся рядом-, на полу.

Борис послал прислугу за родителями и за доктором. Родители в панике вернулись, доктор прибыл тоже. Осмотрев раненого, он сообщил потрясенной семье, что Глеб вовсе не умирает – рана совсем пустяковая. Тот, как оказалось, прострелил лишь кожу слева над ребрами, предварительно ее оттянув. Пуля застряла в дверной коробке.

После ухода доктора Борис видел, как отец расхаживает взад-вперед по огромной гостиной, бормоча: “Как он мог так со мной поступить? Как он мог так со мной поступить?”

В первый и единственный раз Борис разразился обвинительной речью, обращенной к отцу. Он сказал отцу, что они с матерью думают только о себе и совершенно не интересуются собственными детьми. В. К., будучи человеком разумным и не чуждым добрых чувств, его понял.

Летом 1903 или 1904 года Дмитрий Стеллецкий прислал Борису письмо из Римини, в котором уговаривал приятеля продолжить путешествие вместе. Борис был в восторге, и оба молодых человека исколесили Центральную и Северную Италию, останавливаясь в маленьких городах, восхищаясь живописью, архитектурой и мозаикой, особенно мозаикой Равенны. Еще раньше, живя в Харькове, Борис ходил с родителями в круиз по Черному морю до Афин и Константинополя, мозаики которых произвели на него, как он пишет, “не очень ясное, но долго не проходящее впечатление”.

Во время путешествия по Италии со Стеллецом, ставшим его наставником, Борис проникся прелестью ранних римских мозаик (тогда как друг отдавал предпочтение поздним). Но, по склонности к “духовным абстракциям и символизму”, он увлекся вскоре мозаикой византийской.

Закончив училище правоведения, Борис решил стать профессором философии права. Чтобы достичь этого, требовалась степень Петербургского университета. Благодаря вмешательству императора три года обучения в училище были приравнены к университетским. Однако в университете к такой привилегии отнеслись с неодобрением, и Борису пришлось сдавать все университетские экзамены. В результате он успешно прошел и сдал четырехгодичный курс за двенадцать месяцев, что произвело впечатление на его учителя, профессора Петражицкого, который предложил Борису остаться у него на кафедре для получения звания магистра.

Обязательная военная служба Бориса не страшила – дворянам, закончившим училище правоведения, позволено было определять себе полк по собственному выбору. Наиболее престижным из них считался Конногвардейский, и Борис с приятелем по фамилии Галл, чей отец командовал как раз конной гвардией, были туда рекомендованы. Однако, когда приятелю за участие в собрании либеральной партии было отказано, Борис в знак протеста также от этого места отказался. Следует добавить, что генерал-лейтенант Девель, дядюшка сестер Девель, еще раньше настойчиво советовал Борису выбрать какой-нибудь другой полк, хотя причин и не объяснял. Дело же было в том, что поговаривали, будто, играя в клубе,

Галл передергивает, и вскоре его действительно поймали. После такого позора командир был вынужден уйти в отставку. А Борис выбрал драгун.

Военная муштра за последние двести лет изменилась мало: самым главным тут всегда считалось владение саблей и верховая езда. Проносья галопом по манежу, кадеты учились срубить с шеста на скаку кусок глины, заменявший вражескую голову. Для выполнения этого упражнения Борису дали одноухую лошадь, которая при приближении к шесту всякий раз кидалась в сторону, так что всадник никак не мог достать до цели. Оказалось, что во время тренировки какой-то кадет вместо глиняной головы отрубил бедному животному ухо.



На срочной военной службе.

Однажды во время смотра, который должен был делать войскам император, Борису пришлось сидеть на коне перед полком после ночной попойки. На дворе было жарко, император запаздывал. Войска томились в ожидании, Борис потихоньку задремал. Человеком он был крупным, тяжелым, и конь, послушный, но усталый, пошевелил крупом, чтобы перенести тяжесть с левой ноги на правую. При этом спящий офицер выпал из седла прямо на плац. К счастью, Николай II еще не прибыл, но свалившийся со спокойно стоявшего коня Анреп развеселил весь полк.

Попытки Бориса рисовать – несомненно, претенциозные и непрофессиональные – тоже вызывали в полку насмешки. Испытывая в то время сильное влияние Стеллецкого, он использовал любую возможность побывать у него в мастерской. Когда однажды скульптор объявил, что любой человек может рисовать, Борис ответил, что уж его-то это точно не касается. Тогда ему было велено снять сапог и нарисовать собственную ногу, что он и сделал. Результат был настолько хорош, что Борис тут же решил стать художником.

В 1905 году, возвратясь из бесплодного мексиканского путешествия, Борис, одинокий и несчастный, познакомился с Юнией Павловной Хитрово, и у них начался роман. Ее отец был богатым дельцом, в круг интересов которого среди прочего входили железные дороги. Кроме того, он служил в Министерстве финансов. К господину Хитрово, который злоупотреблял служебным положением, брал взятки и вел роскошную жизнь, тайно содержа вторую семью, В. К. симпатии не испытывал.

Юния же была девушкой доброй, благородной и одаренной. Она занималась скульптурой, много читала, прекрасно пела. У нее была бледная кожа, круглое лицо и желтые, как сливочное масло, кудряшки, которые, как позднее выразился Литтон Стрэчи⁶, казалось, можно было снять вместе со шляпкой. Роман длился в течение всего времени военной службы Бориса. По его завершении, согласно логике профессора Петражицкого, для Бориса открывалась наконец перспектива стать профессором международного права.

⁶ *Литтон Стрэчи* (1880–1932) – английский писатель и литературовед, мастер биографического жанра, автор жизнеописания королевы Виктории и известных людей ее эпохи (“Выдающиеся викторианцы”, 1918).



Юния Анреп.

Но теперь, когда в его душу вошло прекрасное, Борис впервые посетил Эрмитаж. То, что до двадцати двух лет его никто не надоумил это сделать, говорит о безразличии семьи к искусству. В. К. был предан науке и общественной деятельности, а на досуге играл в бридж, Глеб увлеченно занимался медициной, а сводные братья, ставшие инженерами, – банковскими делами и строительством железных дорог.

Впечатление, произведенное эрмитажной коллекцией на романтически настроенного молодого человека, было, по-видимому, сильным.

К делу подключился Стеллецкий. Он объявил, что Борис – художник, что, посвятив себя изучению “юристики”, он только зря потратит время. Скульптор поговорил о будущем сына с В. К. и Прасковьей Михайловной, уверяя их, что тот обладает талантом. Борис оставил балы и приемы, стал сочинять стихи, начал общаться с художниками и литераторами.

В 1906 году он выполнил портрет Варвары Федосеевой, своей учительницы музыки: голова в три четверти, с глубокими тенями и смело прорисованными линиями волос, обрамляющих полное немолодое лицо. Свет направлен на щеку и сережку. Целый год Борис пребывал в смятении, не зная, на чем остановить свой выбор. Весной 1908#го он наконец решился и сообщил профессору Петражицкому, что “чрезвычайно увлекся эстетической психологией”, не осмеливаясь, однако, признаться, что собирается поехать в парижскую художественную школу учиться рисовать.

Дома Борис пережил тяжелую сцену. В. К. объявил, что есть только два типа людей, посвящающих жизнь искусству, – это “Рафаэли и идиоты”! Добавим, что и впоследствии, пока отец был жив, Борис не переставал испытывать страх перед ним, а это успехам его художественной карьеры, безусловно, не способствовало.

Еще один семейный скандал разразился, когда перед отъездом Бориса в Париж к В. К. явился Эраст и сообщил, что Борис и Юния должны пожениться: он застал их вдвоем в постели. Со стороны Эраста это был хорошо продуманный шаг, поскольку в то время у него самого был роман с матерью Юнии, которой он хотел угодить, ускорив брак дочери с Борисом. Юнии, почти ровеснице Бориса, было двадцать четыре, их отношения длились уже два года, и едва ли она походила на невинную девочку – мать, возможно, хотела поскорее сбить дочь с рук. Кроме того, Эраст был большим другом брата Юнии, полагавшего, возможно, что эти любовные связи – как матери, так и сестры – задевают его честь.

Как бы то ни было, Хитрово считались уважаемым семейством, и доводить дело до скандала, который бы случился, если бы эти отношения были раскрыты, никто не хотел. Чтобы доказать правдивость своих слов, Эраст предъявил В. К. украденное им письмо Бориса к Юнии, которое делало их связь очевидной.

Обе семьи настаивали на браке, и перед отъездом во Францию Борис сделал Юнии предложение.

Прощаться с Борисом пришел профессор Петражицкий, его увлечение искусствами осудивший. “Жаль, что вы меня покидаете, но я знаю, ветер скоро переменится”, – сказал он.

Борис сел на поезд и отправился в Париж.

Глава четвертая Шуберские

Всю жизнь отношения между четырьмя братьями были натянутыми. Владимира – за то, что тот был хитрым и ловким дельцом, – Борис презирал и с издевательским смешком звал проходимцем. Имя Эраста при мне не упоминалось, возможно, из-за его предательства в истории с Хитрово. Постоянные разговоры Прасковьи Михайловны о том, что ее сыновья от брака с Шуберским должны быть благодарны своему отчиму, воспринимались детьми с раздражением и вряд ли способствовали хорошим отношениям между старшими и младшими братьями.

При всей своей щедрости к детям Шуберского и осиротевшим сестрам Девель, занятия детьми В. К. предоставлял жене, сам же следил за семейным бюджетом. Но и жена настаивала на его участии в семейных делах лишь в двух случаях – в предупреждении греха и одобрении поступков добродетельных. Немецкие традиции, перенесенные в Россию Екатериной II и ее соотечественниками, вполне укоренились, и в семьях респектабельного высшего класса, а также буржуазии многие дамы исповедовали принцип “Kinder, Küche und Kirche”⁷ (хотя в действительности заботились они о детях мало и никогда не готовили). Без сомнения, Прасковья Михайловна очень внимательно следила за соблюдением необходимых условностей.

⁷ “Дети, кухня и церковь” (нем.).



Прасковья и Василий фон Анреп.

Деятельность В. К. носила либеральный характер и в основном касалась образования соотечественников – и мужчин, и женщин. По воспоминаниям Андрея Шуберского, радикальное предложение В. К. ввести в России всеобщее образование было отвергнуто императором и его окружением. Вследствие этого В. К. ушел из правительства, хотя и остался тайным советником.

Оглянемся в этой главе на типичную для обеспеченных классов жизнь семьи Владимира Шуберского, великолепно описанную в мемуарах его сына Андрея.

Влияние такой жизни на Бориса, который отвергал ее принципы в течение пятидесяти лет, но в конце концов, уже в Англии, оказался вынужден им подчиниться, оказалось все же значительным.

Володя Шуберский получил специальность инженера-строителя. В начале 1900#х годов он женился на Евдоксии, дочери князя Михаила Хилкова, министра путей сообщения, который в юности по приказу Александра II изучал строительство локомотивов и работу железной дороги в Англии и Америке. Поэтому казалось естественным, что его зять тоже станет работать на железной дороге. Володю назначили инспектором императорского пути, а это означало, что он нес ответственность за все маршруты, по которым должен был проезжать император. Поскольку на пути следования императора вполне могли заложить бомбу,

Володе следовало ехать на отдельном паровозе впереди императорского поезда в качестве подставного, чтобы в критической ситуации его взорвало первым.

У Владимира и Евдоксии было двое детей: сначала в 1902 году родилась дочь Паша, потом в 1907#м – сын Андрей. Когда Андрею исполнилось три года, в Петербурге для семьи был выстроен дом. Возможно, при строительстве Владимиру помогал приемный отец – во всяком случае, план дома № 9 по Мытнинской улице схож с тем, по которому строился и дом В. К. Здание было большое, с двором посередине, где хранились – в количестве, достаточном, чтобы отапливать все здание зимой и круглый год обеспечивать жильцов горячей водой, – сложенные высокой поленницей березовые дрова. В боковых флигелях жили слуги, там располагалась отопительная система, кухни, кладовые и прачечные, а в главном корпусе, выходящем на улицу, проживала семья Шуберских. Квартиру в верхнем этаже занимал Эраст. Женат он не был, жил один с доberman-пинчером. Его любовница, госпожа Хитрово, навряд ли когда-нибудь в этой квартире бывала.

В воспоминаниях Андрея Шуберского мебель описывается подробнее, чем люди, но чувствуется, что вся атмосфера дома была пропитана духом роскоши, столь свойственным богатой русской семье. Перечень предметов убранства длинен – в те времена в комнатах обычно было множество вещей. Андрей видел дом внимательными глазами одинокого ребенка – сестра его, пятью годами старше, жила в Смольном институте, где благородных девиц готовили к самому главному – будущей семейной жизни.

Квартира Владимира и Евдоксии Шуберских располагалась на втором этаже. Как и в доме В. К., здесь были большие двустворчатые двери. В кабинете Владимира стояла тяжелая темная мебель, обитая зеленым бархатом, темно-зеленый ковер, у стены диван, над которым висела книжная полка, и тяжелый письменный стол с зеленой кожей поверху. Андрей не помнил, чтобы отец когда-нибудь там работал.

Полы везде паркетные, в гостиной – розового дерева. Зимой их устилали коврами. В одном из углов гостиной лежала шкура белого медведя. Разложенный в центре большой ковер и стены были розовато-красных оттенков. У стен между окон стояли горки с памятными предметами, принадлежавшими когда-то деду, князю Хилкову; там же, вдоль стен, были расставлены канапе и кресла в стиле XVIII века, обитые шелком, на которых маленькому Андрею сидеть не позволялось. В центре с потолка свешивалась люстра, привезенная из Венеции Борисом в качестве свадебного подарка. Она представляла собой множество частично перекрывающих одно другое стеклянных страусовых перьев розоватого цвета, среди которых угнездились многочисленные электрические лампочки. По форме люстра напоминала грушу. Еще одним следствием неожиданного приступа дружеских чувств к брату было украшение одной из дверей в квартире Шуберских, выполненное Борисом совместно со Стеллецким. Стеллецкому нравились традиционные русские темно-красные цвета и средневековые узоры.

Другая гостиная, столь же большая, была выдержана в серо-голубых и розовато-лиловых тонах. Здесь красавица мать принимала гостей. На ее письменном столе стояли всевозможные безделушки, в том числе и специальное приспособление для запечатывания писем, состоящее из спиртовки и ложечки, в которой плавил сургуч. Потом сургуч наливали на клапан конверта и прижимали печаткой с фамильным гербом. Был там и маленький серебряный локомотив на подставке, во всех деталях повторяющий настоящий, подаренный князю императором по окончании строительства Транссибирской железной дороги. В одном углу стоял рояль, а в другом лежала медвежья шкура. Здесь же стояло на задних лапах чучело еще одного медведя. По семейным преданиям, все медведи были убиты в Сибири дедом Хилковым (надо сказать, что в те времена принято было драться с медведем один на один, вооружившись лишь пикой).

Андрей вспоминает, как испугался он моли, услышав возглас матери: “Боже мой, моль съела медведя!”

Дверь, ведущую в розово-лиловую гостиную, охраняло чучело оскалившегося волка.

В каждой комнате висела икона – Христос, Богородица или какой-нибудь святой – деревянная, часто в серебряном окладе. Перед иконой день и ночь горела лампадка.

Спальня Андрея была завалена игрушками. На стульчике-качалке были вырезаны два гуся, с помощью которых его и приводили в движение. Кроме того, была еще лодка-качалка, в которую помещались четверо или пятеро детей. И в придачу качающаяся лошадка. Однажды Андрей обнаружил игрушечные сервизы северского фарфора – чайный и обеденный – необыкновенной красоты и изящества, присланные в подарок матери персидским шахом. Их тогда сразу убрали, чтобы ребенок нечаянно чего-нибудь не разбил.

Евдокия Шуберская была красивой дамой, всецело занятой светской жизнью. Как повелось в семействе Анреп, Андрея воспитывала английская гувернантка, с которой он проводил почти все время, пока не пошел в школу, – мисс Уайтхед. Экономкой была старая двоюродная тетюшка Евдокии, которая, пишет Андрей, всегда носила черное и семенила по дому как таракан.

Каждую весну в доме устраивали грандиозную уборку – являлась целая армия рабочих с огромным пылесосом, который устанавливали на улице перед домом, а длинный шланг просовывали в окно. После чистки покрывавшие весь пол большие ковры поднимались, сворачивались и убирались в специальные холодные кладовые, где не могла завестись моль, – они хранились там до следующей осени. Рабочие убирали все комнаты, пока каждый уголок не начинал сверкать чистотой. Затем вынимали внутренние рамы двойных окон и тоже убирали до осени. На зиму между рамами клался мох.

Приметой наступления весны было для Андрея появление на улице торговцев с огромными корзинами раков на спине. Они кричали “Раки! Раки!”, кухарка выскакивала из дому, покупала, и потом вся семья наедалась до отвала.

К 1912 году Владимир занялся банковским и промышленным делом. Он был директором Русско-французского банка, через который проходили средства, вкладывавшиеся Францией в русские государственные железные дороги. Также он имел долю в горнодобывающей уральской промышленности, в сталелитейной и воздухоплавательной. Среди прочих признаков достатка был домашний телефон и швейцар, встречавший посетителей в прихожей и одетый как адмирал Руритании⁸. Довольно рано Шуберские сменили конный экипаж на автомобиль. Что же касается В. К., то он предпочитал пользоваться своим старым выездом с парой лошадей. Проезжая по Невскому, вспоминает Андрей, В. К. выглядел весьма внушительно.

Борис, похоже, был веселым дядюшкой. Однажды он привез из-за границы в подарок Андрею игрушечное ружье. Оно стреляло резиновыми пулями с помощью пистонов.

Мы решили испытать ружье, – вспоминает Андрей, – и выстрелили через открытые двери моей комнаты, спальню родителей и столовую в самый конец квартиры. К несчастью, в розовой гостиной на секретере стояла большая ваза северского фарфора, в которую и угодила пуля. Ваза разбилась вдребезги, так что стрелять из ружья мне больше не пришлось.

⁸ *Руритания* – в романах Энтони Хоупа (1863–1933) якобы существовавшая до Первой мировой войны вымышленная европейская страна, где процветали интриги мелодраматического и романтического свойства.

Глава пятая

Сомнения

Когда Борис в возрасте двадцати пяти лет оставил спокойную, обеспеченную жизнь в Петербурге и, устремившись к великому искусству, приехал в Париж, он был встречен там Стеллецим, который для начала помог ему устроиться. Потом рекомендовал ему художественные школы и студии: Академи Жюльен для утренних занятий, затем “Ля Палетт”, где острый на язык и, как поговаривали, сексуально неполноценный Жак Эмиль Бланш по прозвищу *le vipère sans queue*⁹ целый день преподавал живопись, и “Ля Гранд Шомьер” для вечерних занятий рисунком.

Между тем заболел отец Юнии Хитрово, и доктора посоветовали ему отправиться в Ниццу. В этой поездке его сопровождала дочь. Там в 1908 году в русской православной церкви Борис и Юния обвенчались, причем жених прибыл лишь за день до торжественной церемонии. Он вспоминает, что уже до свадьбы чувствовал к Юнии охлаждение.

Прасковья Михайловна, приехавшая на юг Франции, встретила с Борисом на платформе вокзала в Ницце. Она собиралась проследить за тем, чтобы сын вел себя как подобает. Хотя она относилась к этому браку неодобрительно, приличия требовали, чтобы молодые люди поженились. Однако, поскольку гражданской церемонии не последовало, брак этот по французским законам считался недействительным. Мать Бориса на венчание не пошла, ясно давая понять, что она недовольна их постыдной добрачной связью.

Судя по многим свидетельствам, недовольство было главным чувством, руководившим поступками госпожи фон Анреп.

Молодая чета поселилась в квартире, которую Борис уже успел снять на бульваре Распай. Здесь, вспоминает он, Юния “шила платья, пела и следила за квартирой”. Спустя годы он как-то раз заметил, что женился на ней, потому что их застали в постели и потому еще, что у нее была прекрасная средневековая мебель.

В Париже началась дружба со многими иностранцами, ей суждено было продлиться долгие годы. В Академи Жюльен Борис сидел рядом с художником Пьером Руа, которого Андре Салмон назвал “быть может, истинным отцом сюрреализма”. Поначалу Руа думал, что его сосед – англичанин, так как тот много общался с англичанами, Борис же принял Руа за японца. Разобравшись с национальностями, они подружились на всю жизнь.

В “Ля Палетт” секретарь занялся созданием музыкального общества и, обнаружив, что Борис играет на виолончели, предложил ему присоединиться к другим музыкантам. Так началась дружба Бориса с Генри Лэмом. Лэм великолепно играл на фортепьяно, Борис же, хоть и считал себя немusикальным, наверное, настолько хорошо за семь лет освоил виолончель, что мог справляться со струнными квартетами Моцарта. Музыкальные встречи устраивались раз в неделю в течение всей зимы.

Генри Лэм был жизнерадостным молодым человеком, сыном уважаемого манчестерского врача. Как и Борис, он отказался от надежной карьеры, в данном случае медицинской, и сбежал в Лондон с красоткой весьма вольного поведения, также занимавшейся живописью. Он поступил в художественную школу в Челси, где попал под влияние яркой индивидуальности Огастеса Эдвина Джона, живописца и портретиста. Его облик преобразился: развевающиеся волосы, золотые серьги, бархатные пиджаки... Еще он отпустил бородку, как у Христа, носил охотничий костюм и узкие брюки со штрипками.

⁹ Бесхвостая гадюка (фр.).

Вскоре после приезда в Париж, гуляя по Люксембургскому саду, Борис обратил внимание на очень странное семейство и, не удержавшись, сел напротив, чтобы разглядеть его повнимательней. У мужчины были длинные засаленные волосы и борода, и похож он был на цыгана. На нем был такой же охотничий костюм и брюки со штрипками, как у Лэма. Две женщины – смуглые, странные и романтические – почему-то показались Борису похожими на скандинавок. На них были широкие длинные чесучовые юбки белого цвета, плотно застегнутые корсажи с круглым вырезом и короткими рукавами и черные лакированные туфли на высоких каблуках. У одной волосы были длинные и распущенные, у другой собраны в пучок. На головах большие соломенные шляпы. Тут же стояла коляска с двумя маленькими детьми.



Борис Анреп и Генри Лэм.

Оказалось, что Генри Лэм хорошо знаком с этим семейством – Огастесом Джоном, его женой Дорелией, сестрой Эди Макнил и множеством детей. В начале 1900#х годов Лэм,

кроме того что стал подражать манерам и внешности Джона, еще и влюбился в Дорелию. Об этой встрече Борис написал Лэму любопытное письмо на довольно своеобразном английском языке, которым, похоже, владел еще не слишком хорошо:

Если бы Вы могли проникнуть в мое сердце и разум, который Вы удостоили сообщением некоторых деталей о характере Ваших отношений с Джоном и его семьей, Вам бы стало дурно, и Вы бы почувствовали, что отравлены той желчью, которая выиграла во мне, когда я впервые увидел Джона. Кошмар состоял в том, что, вполне сознавая мощь его личности и ее варварскую красоту, я испытал сердечное отвращение ко всем тому гадкому, низменному и жестокому, что ощущалось в его лице и манерах.

Лэм был в восторге от знакомства с русским – он только что узнал великих русских писателей XIX века, которых читал с большим воодушевлением. Был и еще сближающий момент: Лэм недавно женился на Юфимии, той самой красотке вольного поведения, однако, как и у Бориса, первоначальное увлечение дамой ко времени женитьбы у него заметно остыло. Отвергшие свои прежние профессии, Борис и Генри Лэм были сравнительно с другими учениками студий уже вполне взрослыми людьми. Лэм, честолюбивый, остроумный, хорошо образованный, был красив своеобразной мрачной красотой и, несмотря на маленький рост, неизменно привлекал своей элегантностью и женщин и мужчин. Его всегда восхищали аристократы, и то, что Борис был “фон” и к тому же мог наследовать титул графов Эльмптских, было для Лэма особенно притягательно. Борис, уверенный в себе великолепный высокий блондин, судя по всему, был полон оригинальных планов. Его присутствие в любом обществе создавало веселую атмосферу жизнелюбия, внушало ощущение бьющей через край энергии, против чего, если учесть еще и его невероятную сексуальную привлекательность, устоять было трудно.

Однако в первые парижские годы Борис, по его словам, был больше дружен не с Генри Лэмом, а с Пьером Руа. Однажды, когда Юния уехала навестить родных в Минск, Борис был приглашен провести две недели у бабушки Пьера в Порнике, в Бретани, где собралась вся семья Руа. На подобное приглашение мало кто мог бы рассчитывать – французы вообще редко приглашают знакомых к себе домой.

В “Декларации”, написанной в 1947 году для нью-йоркского Музея современного искусства, Руа сообщает:

Году в 1909#м у меня был русский друг, Борис фон Анреп, бывший офицер, который стал великолепным мозаичистом, единственным мозаичистом, по-настоящему оказавшим на меня влияние. С его рассказами о степях и лесах, о византийском искусстве, о русском балете, о лондонском обществе, с его приятной простотой в обращении он до сих пор остается моим добрым другом.

Именно с Руа Борис отправился на *bal des quatre arts*¹⁰, где обнаженную Юфимию Лэм выносили на вытянутых руках шесть молодых американцев. Борис изображал бога солнца Ра и тоже был обнаженным, если не считать леопардовой шкуры *cache-sexe*¹¹ и изображения солнечного диска на голове, вокруг которого обвился урей, ужасная священная змея. То, что большой светлокожий русский решил изображать египетского бога, дает некоторое представление о тщеславии и популярности Бориса среди учеников художественных студий того времени.

¹⁰ Бал четырех искусств (фр.).

¹¹ Здесь: в виде набедренной повязки (фр.).

Однажды в Академи Жюльен объявился Питер Маннок, молодой человек, по происхождению шотландец, с которым Борис подружился. Шотландец уговаривал Бориса поехать учиться рисованию в Эдинбург, который называл Новыми Афинами Европы. Учителя направили Маннока в Мадрид копировать Гойю и Веласкеса. Так, дружба с Манноком помогла Борису познакомиться с приемами и секретами старых мастеров, главным образом венецианцев, творчество которых, по словам Маннока, великолепно исследовали в Эдинбурге.

Приехав погостить домой, в Петербург, Борис встретил своего товарища по училищу правоведения. После обмена новостями товарищ спросил, получил ли Борис свое жалованье.

– Какое жалованье? – удивился будущий художник.

– Ваше жалованье государственного служащего. Разве вы не знаете, что после сдачи экзаменов вам автоматически назначили жалованье чиновника девятого класса. Нужно только пойти и получить его.

Борис немедленно поспешил за жалованьем, накопившимся за все время, что прошло после окончания училища, и, вернувшись домой, сообщил о триумфе отцу. Хотя В. К. сам материально поддерживал Бориса в его семейной жизни, такая беспринципность его возмутила. Он воскликнул, что тот ничем не заслужил никаких денег. Узнав же, что так поступают все сдавшие экзамен, независимо от того, состоят они на службе или нет, В. К. объявил, что на следующий же день идет к императору, чтобы положить конец такому чудовищному положению дел. Так он и сделал, и с тех пор ни его сын, ни кто-либо другой не получили ни рубля из этого источника.

Молодая чета Анрепов отправилась в Эдинбург и поселилась в Уоррендер-парк-террас, в квартире, состоявшей из спальни и гостиной. Борис начал посещать художественную школу, но необходимость постоянно рисовать с натуры античные гипсовые образцы его удручала. Студенты в общем были ему неинтересны, хотя он и хаживал в их компании лунными ночами по двадцать миль через холмы Пентленд-Хиллз и обратно.

В Шотландии Анрепы провели девять месяцев, таких же скучных, как традиционный для тех мест ранний ужин с чаем, исключительно невкусный. Жизнь была очень далека от парижской, и обещанные Новые Афины Эдинбург вовсе не напоминал. И все же рядом была Англия, которая Борису по-прежнему нравилась. Совершенно случайно он вновь встретился с Генри Лэммом, писавшим портрет жены адвоката, красавицы миссис Джеймсон.

Затосковав в Эдинбурге, как и Борис, Юния надолго уехала к своим родным. Борис остался один и окончательно пал духом. Тогда-то он и послал телеграмму профессору Петражицкому с вопросом, можно ли ему приехать и вернуться к изучению международного права. Вскоре пришел ответ: “Рад, что ветер переменился”.

Вновь оказавшись в Петербурге, Борис снял квартиру на Невском проспекте, которую обставили средневековой мебелью Юнии. Деньгами отец дочери не помогал, у нее оставалось лишь множество фамильных бриллиантов. Прожив в роскоши всю жизнь, господин Хитрово умер, как оказалось, без гроша за душой, поэтому теперь Юнии пришлось возвращать свои бриллианты матери.

Чтобы получить степень магистра, Борис вернулся к университетским занятиям у Петражицкого, но вновь заскучал. В. К. помогал ему профессиональными советами, однако так и не смог пробудить в сыне интерес к международному праву. Борис написал портрет Юнии в русском стиле: округлое свежее лицо кудрявой блондинки в высоком, шитом золотом головном уборе и в горностах. Портрет подарили В. К. и Прасковье Михайловне, которым он чрезвычайно понравился. Между тем профессор Петражицкий, переболев оспой, собирался ехать в Швейцарию для поправки здоровья. Больше терпеть эту скуку Борис не мог. Решив возвращаться в Париж, к искусству, он отправил профессору букет белой сирени и прощальное письмо с извинениями.

Должно быть, в это же время Борис уговорил Пьера Руа приехать в Россию, так как 2 августа 1909 года, гостя в родительском доме Юнии в Минске, он написал Пьеру на своем довольно своеобразном английском следующее письмо (похоже, что в Петербурге они так и не встретились):

Мой дорогой друг Пьер!

Твой Борис сообщает тебе последние новости. Ну вот ты и *au courant*¹² всех самых русских произведений искусства, самых потрясающих... твое образование между стеной и балюстрадой... твои впечатления... Бог мой! Ты говоришь мне о Стеллеком и о <?>¹³ Я вижу их отсюда, но потом, после ужина, твои размышления не говорят мне ничего [...] Прости эти грубые выражения, но мне до определенной степени присуща отвратительная русская привычка использовать бульварные галлицизмы. Но что ты думаешь о русском театре, о декорациях, великом Шаляпине, балете и пр.? Друг мой, я полагаю, это было для тебя откровением. Или я не прав?

Жизнь моя в беспорядке. Великолепная жизнь, которую предлагает мне мой учитель Петражицкий, полна камней. Блестящая карьера меня не ждет, но мне нужно реализовать две-три идеи. Вот о чем я мечтаю. Должен сообщить, что, увы, в живописи я, как всегда, проявляю нерешительность, очень немного влечет меня. Поэзия предлагает мне такие причудливые игры, такие гирлянды идей и звучных понятий, что я предаюсь им всем сердцем. [...] Мне снится Данте. Уверен, ты читал его только в школе. Я ничего не печатаю. В поэзии моей много глупостей, идущих от художественного бессилия, но много и “высокого”. Когда б я мог запечатлеть четыре стороны моей философии, изложив это в религиозной, библейской манере, в стиле таинственных легенд и преданий, скрывающих и вместе с тем раскрывающих перед читателем строгие принципы самой передовой науки, взятой в ее абстрактном, обобщенном виде, это обрело бы силу великой поэзии.

Юния Павловна целует тебя в щеку, шлет поклон твоим родителям и просит сохранить хорошие русские манеры, чтобы не позорить своего друга, когда приедешь сюда.

В 1909 году Борис пишет “Оду”, которую посылает Недоброво, чтобы узнать его мнение. Недоброво стал теперь известным литературным критиком и поклонником Анны Ахматовой, которой было тогда двадцать лет и которая находилась в центре самого изысканного литературного круга. Позже Борис сам перевел “Оду” на английский, дав ей название “Предисловие к «Книге Анрепа»”. Его английский был в ту пору довольно бедным, в стихах же ощущалось влияние Библии и Блейка. Английские слова и выражения, хотя и не вполне ему понятные, его восхищали. Вот отрывок из “Предисловия к «Книге Анрепа»”¹⁴:

В лесу были распутницы. Подобно побродяжкам валяясь под кустами, они нагло звали меня возлечь с ними. Безрассудно ласкал я молодых девиц. Они были полны лукавого искусства и алчности, прельщая меня одна за другою, я же был полон доверия.

Твари разодрали ручного кролика. “Дай мне твои руки, ты играл со мной!” – “А мне отдай ногу!” – “И мне тоже!” Горе мне! Зубастые

¹² В курсе (*фр.*).

¹³ В английском тексте Б. Анрепа стоит “Celline” – то ли искаженное Cellini (Челлини), то ли искаженное Céline (Селин).

¹⁴ В обратном переводе с английского.

волчицы! Они разбросали повсюду куски моей плоти и грызли их со скрежетом зубным. И оставили меня умирать и хрипло смеялись, потешаясь друг над другом. Таково было горе, что стал ненавидеть я всю сладость любви. Поглоти вас мрак, потаскухи с зловонным дыханием, гибель вам, нарывы вам и струпья, сушь и гниение! Горе мне, подобному телеге без колес и оглобель: лишь чрево и чело, изливающие кровь! Хладные тучи, словно черные слизняки, влекут меня за волосы, слипшись с ними своею слизью. Скорбь и сумрак стоят надо мною.

Таковы были “гирлянды идей и звучных понятий”, которым предавался Борис.

Тот факт, что их сын мечется между искусством, правоведением и поэзией, должно быть, доставлял Прасковье Михайловне и В. К. большое огорчение. Казалось, молодой человек никогда не утомится и не займется серьезным делом.

В конце концов, все же не пав окончательно духом, Борис и Юния вновь сели на поезд и вернулись в Париж, где сняли новую квартиру с мастерской на рю Буассонад. Борис продолжил занятия в Академи Жюльен.

Летом профессор Анреп с женой, пожелавшие познакомиться с рисунками сына, их навестили. Анрепы были из тех родителей, которые к любым начинаниям детей относятся с полной серьезностью. Тогда наконец В. К. одобрил и благословил старания Бориса, что стало в жизни нашего героя важным событием.

Глава шестая

Хелен Мейтленд

По дороге из Эдинбурга в Санкт-Петербург, собираясь покончить с искусством и вновь заняться правоведением, Борис на одном из обедов в Лондоне повстречал Генри Лэма, танцевавшего со своей любовницей Хелен Мейтленд. В воспоминаниях Мод Рассел, последней возлюбленной Бориса, утверждается, что тот, по его словам, не обратил тогда на эту молодую и хорошенькую женщину никакого внимания, но через двенадцать месяцев был ею околдован. Сама же Хелен писала: “В тот день он сказал Лэму, что я бродяжка, но позже признался мне, что не мог выбросить меня из головы”.

Хелен Мейтленд родилась в 1885 году в шотландской семье. Воспитывалась она в обстановке напряженной – ее отца, когда выяснилось, что он не желает овладевать достойной профессией (то есть, как это было принято в семье, становиться юристом), богатые эдинбургские родственники, обвинив в расточительстве, с позором изгнали в Америку. Женившись на мисс Луизе Джелл и эмигрировав на калифорнийское побережье, Уильям Мейтленд купил ранчо неподалеку от Санта-Крус. Поначалу жизнь складывалась прекрасно: жена родила дочь Хелен Энн, виноградник и персиковый сад приносили большой урожай – эти культуры росли здесь особенно хорошо. Но через несколько лет все круто изменилось. С ранчо вела дорога, спускавшаяся по высокой скале – корзины с персиками и бочки с вином вывезти по ней было невозможно. Обычно их вывозили через земли соседа, но однажды Мейтленд с ним поссорился, и в проезде ему было отказано. Хелен, тогда еще маленькая девочка, запомнила гниющие персики в деревянных ящиках и непроданное вино в огромных бочках, стоявших на ранчо повсюду. Но на этом злоключения не кончились. Мейтленд влюбился в дочь другого соседа, пианиста, и, как рассказывали, завел на стороне большую семью.

Когда впереди замаячило банкротство, Мейтленд бросил жену и дочь, и Луиза Мейтленд оказалась оставлена на милость не получивших жалованья китайских рабочих с весьма неуравновешенным нравом, поскольку все они курили опиум. Рабочие забрались в винный погреб и напились так, что матери и дочери пришлось прятаться. Добросердечный китайский повар запер их для безопасности в подвале.

Миссис Мейтленд и Хелен перебрались в Сан-Франциско и жили там в бедности. Мать писала маслом небольшие картинки – букетики фиалок или калифорнийских маков в вазе – которые продавала перекупщику по имени Викери по пять долларов за штуку. Хелен бродила по улицам в поисках деревяшек на растопку, чтобы можно было готовить и обогревать их единственную комнату. Девочке было одиноко, она сидела у окна и мечтала пойти поиграть с уличными детьми, что, конечно, было нелепо, ибо она была ребенком из благородной семьи. Так и не утратив сознания своего благородного происхождения, она позже, когда оказалась в нужде снова, часто спрашивала себя с грустью: “Что за радость быть леди, если у тебя нет денег?”

Луиза Мейтленд, дама с упорным характером, наконец нашла работу – место библиотекаря в Стэнфордском университете. “Мы прожили в Стэнфорде около пяти лет, – пишет Хелен, – за это время моя мать стала профессором не знаю точно каких наук, но поскольку она много читала по-немецки и по-французски, я думаю, речь шла об иностранной литературе”.

В письме шотландским тетушкам со стороны отца (Хелен и Энн, в честь которых была названа девочка) Хелен обрисовала ситуацию, сложившуюся после того, как отец их бросил, и тогда матери с дочерью была выделена небольшая сумма, чтобы они могли вернуться

в Европу. Здесь их ждала кочевая жизнь, начавшаяся в Швейцарии, где за жилье они платили пять шиллингов в день. Потом они жили во Франции, в Италии, каждый раз находя столь же дешевое жилье. Они старались выбирать себе квартиру над каким-нибудь модным рестораном, договариваясь с поваром, чтобы тот за умеренную плату посылал им оставшуюся еду.

Миссис Мейтленд была одной из тех одиноких волевых англичанок, которые стали характерным явлением той эпохи. Они жили за границей, главным образом во Флоренции или в Париже, на небольшой доход, вращались в обществе бывших своих соотечественников, хорошо знавших литературу и искусство и находивших моральную поддержку в осознании своей принадлежности благородному сословию высшей нации. Ее вполне удовлетворяла самостоятельная жизнь без мужа, чьи безумные прожекты стать миллионером привели лишь к тому, что и он сам, и его семья обнищали. Миссис Мейтленд вновь занялась живописью, посещала художественные школы. Теперь ее картины, вполне сносные, уже не найти, поскольку дочь относилась к ним презрительно и не хранила.

Хотя сама Хелен картин не писала, она довольно много времени проводила в галереях, воспитывая собственный вкус. Во Флоренции она осмелилась заявить, что не любит Боттичелли, что в этом городе было “почти преступлением”. Она писала, что “была увлечена Беренсоном и его «тактильными ценностями», с которыми, впрочем, не знала, что делать”.

В 1909 году, после переезда в Париж, Хелен через своего родственника Дункана Гранта познакомилась с Генри Лэмом.

Все они работали в студии свободных художников на Монпарнасе, – пишет она. – Сперва он показался мне человеком бледным и неприметным, но вскоре, узнав поближе, я полностью поддалась его влиянию. Он рассказал мне о своей страсти к Дорелии Джон и о том, как они сбежали вместе и скитались, рисуя портреты посетителей кафе, чтобы прокормиться, как ночевали в сараях и стогах сена, как Джон, хотя его предыдущая жена еще не умерла, а была беременна своим последним ребенком, который, по словам доктора, должен был ее убить, разыскал их и утащил Дорелию с собой присматривать за семьей из семи человек. Она была большим другом первой жены Джона и пообещала никогда не покидать ее детей.

Хелен рассказывает, что, как и Борис, впервые она встретила Дорелию в Люксембургском саду, где, к ужасу прогуливавшихся парижан, дети Джонов, раздевшись, купались в пруду. Хелен и Дорелия растирали их потом изо всех сил.

Еще один рассказ о любовной истории Лэма содержится в дневнике Франсес Партридж за 1949 год:

Вчера вечером Хелен рассказала нам о своей жизни в Париже много лет назад, когда она познакомилась с Генри Лэмом, Огастесом Джоном и Дорелией.

– Генри, наверное, был очень привлекателен. Вам он нравился? – спросил Реймонд [Мортимер].

– Нравился? Я была безнадежно влюблена в него не один год!

Смелое признание.

Потом она рассказала, что Генри и Дорелия безумно полюбили друг друга с первого взгляда и, следуя стилю “пикарески”, модному в те годы, ушли в горы, уведя за собой двух маленьких детей, но Огастес бросился следом и вернул их назад.

В это время Луиза Мейтленд была увлечена теософией, а также занималась живописью в студии свободных художников под руководством господина Тюдора Харта, который среди

прочего утверждал, что любое искусство может быть переведено на язык другого. Когда он устраивал выставку-конкурс своих учеников, то результаты сам изображал в танце.

Нет сомнения, что подобные выкрутасы воспринимались Хелен и ее друзьями, художниками более серьезными, с презрением. У нее начался роман с Лэмом, длившийся два года – “два самых ужасных года моей жизни”, призналась она мне. Это был ее первый роман, а ей к тому времени было уже двадцать три. В потрепанной маленькой тетрадке Хелен начала писать карандашом письмо к Лэму, которое после предполагала переписать набело:

Очень боюсь, что я не могу прибегнуть к полумерам. Вы часто говорили мне, когда я жила с Вами, что, как Вам кажется, я вся [...] – более, чем любая известная Вам женщина. Конечно, это верно, но лишь потому каждая частица моего естества стремится к этому, сердце, ум и тело... Я любила Вас так, что невозможно выразить словами, и страдала как проклятая [...] Я не только страдала непрерывно и бессмысленно, но, по-видимому, стала причиной всего, что есть в Вас самого дурного.

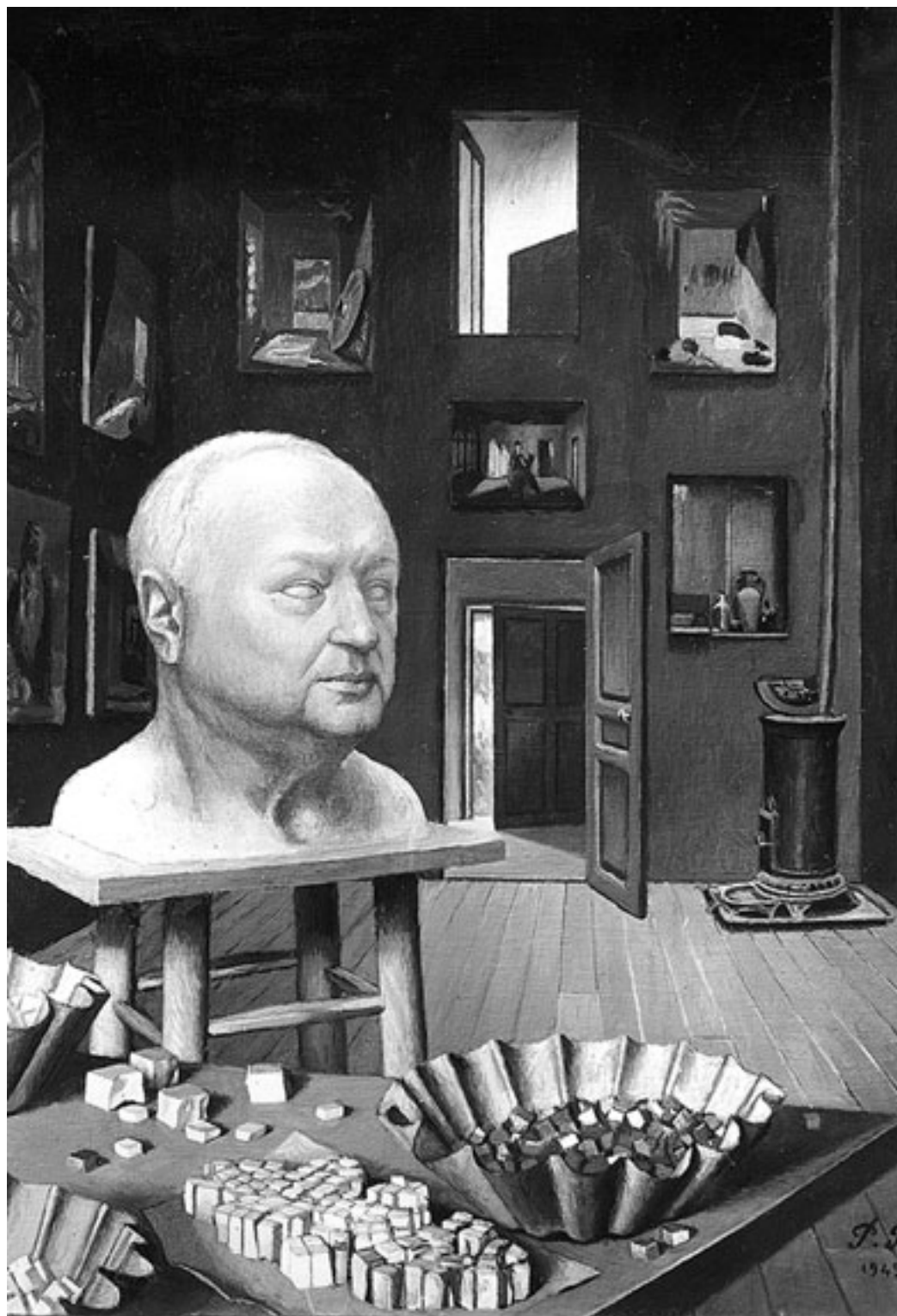
На протяжении последующих пяти страниц она обвиняет его в самом ужасном художественном грехе, доступном ее воображению:

Кажется, верх Ваших амбиций – стать вторым Франсом Хальсом, чего с Вашими дарованиями и умом добиться совсем нетрудно, особенно если учесть Ваше равнодушие к моральной стороне дела.

Этот свойственный юности упрек оборачивается горечью в черновике другого письма:

Я прошу прощения за свою тупость. И в самом деле невозможно извинить человека, который не понял того, на что Вы так упорно все время пытались намекнуть... Но будьте достаточно мужественны, чтобы признать, что Вас, или Ваше отвращение, или Ваше нежелание тратить на меня настоящие чувства я была способна терпеть. Все это было бы легко простить. Простить, по-моему, нужно, ибо как же девушка может догадаться, сколь мало значат все эти месяцы поцелуев и слов. Разумеется, если девушка эта неопытна.

И с мужчинами, и с женщинами, которые его любили, Лэм вел себя безобразно, умея, когда ему было нужно, выглядеть либо очень милым, либо в той же степени мерзким. Ему всегда хотелось уничтожить чувство уверенности в себе у того, кто его любит. Единственным исключением была Дорелия Джон: она бы не стала терпеть пренебрежения от любовника, сколько бы ей ни приходилось вынести от мужа. Несмотря на продолжительную привязанность, которую питал к ней Лэм, Дорелия с Хелен остались близкими подругами на протяжении всей жизни. Отвратительно вел себя Лэм и с Литтоном Стрэчи, который любил его и с которым однажды они провели ужасные каникулы. Несчастный Стрэчи писал своему брату Джеймсу: “Он самый восхитительный спутник на свете – и самый неприятный”.



Пьер Руа. Студия на бульваре Апаро, 65 (изображенный на картине бюст Анрепа – плод воображения художника).

Лэм написал изящный портрет Хелен в темных тонах, где она изображена в шляпе с перьями. Она кажется романтической и привлекательной. Портрет создан человеком умным, понимающим гармонию и изобразившим задумчивую красоту молодой дамы – голубые глаза, каштановые волосы, розовые щеки. В картине есть, кроме того, что-то таинственное. Видно, что женщине на портрете присуще любопытство и увлеченность жизнью. На другом портрете Лэм изобразил Хелен в оранжевом платье в черную полоску – на этот раз в прили-

занной академической манере. Художник с горечью жаловался, что ему неинтересно писать женщину с такими правильными чертами, как у нее. Второй портрет Хелен не любила, ее оскорбляло, что она изображена на нем девушкой, впервые оказавшейся в свете, – может быть, такой же простушкой, как на полотнах Хальса. Она часто позировала, и все ее портреты хорошо раскупались.

Когда она впервые встретила Лэма, он был очень беден. Брак с Юфимией явно не оставлял никаких надежд: оба были неверны друг другу и даже не пытались себя сдерживать, оба думали о разводе, который получили только в 1920-х годах. В Париже Лэм менял свое местожительство дважды в неделю, Юфимия столь же часто меняла круг друзей. Тогда, в 1910 году, во время романа с Хелен, Лэм увлекся интрижкой с леди Оттолайн Моррелл. Его подражание Огастесу Джону распространялось даже на любовниц Джона, а кроме того, как и Джон, Лэм всегда восхищался титулами.

Хелен чувствовала себя совершенно несчастной, ей нужны были перемены. Она преданно относилась к Дорелии, и когда у той случился выкидыш, Хелен бросилась к ней на южный берег Франции, в Мартиг. Там она занималась детьми и ухаживала за больной. С ней вместе, к ужасу Джона, приехал и Лэм. “В связи с особой ситуацией мы договорились об амнистии”, – писал тот Оттолайн Моррелл.



Хелен Анреп (урожденная Мейтленд).

В 1911 году Пьер Руа предложил Борису занять одну из студий на бульваре Апаро, где вокруг сада, рядом с тюрьмой Санте, обосновались художники. Бульвар представлял собой красивую аллею конских каштанов с широкими, даже для Парижа, тротуарами, придававшими наполненной светом улице какое-то сельское очарование. Там были рестораны, магазинчики и булочная, куда каждое утро привозили свежий хлеб и круассаны. Здания художественных студий были низкими, говорят, из-за крайне ненадежных фундаментов, в которых, возможно, находились входы в катакомбы.

Руа здесь было выделено место для работы, а Борис стал не только работать, но и жить в студии, поскольку в ней были две большие комнаты, одна над другой, а над кухней еще и маленькая спальня. Въехав сюда вместе с Юнией, Борис много трудился, хотя часто отлу-

чался в Лондон, чтобы посетить друзей и лучше познакомиться с писателями и художниками кружка Блумсбери.

Однажды в студию явился Лэм. Он привел с собой Дорелию Джон, ее сестру Эди и Хелен Мейтленд. На всех трех дамах были красивые наряды в духе Джонов, все три были молоды и обворожительны. Особенно поразила Бориса очаровательная Хелен, ее красота, обаяние, готовность его слушать. Несомненно, она была леди, но все же держалась непринужденно, с пренебрежением к условностям – следствие ее кочевой жизни.

Борис снова влюбился.

Глава седьмая

Искусство в Париже и Лондоне

С 1908 по 1912 год Борис и Юния жили как муж и жена, хотя очень часто бывали в разлуке. Юния ездила к родным в минское имение, а Борис – в Лондон или в Петербург. Мы не знаем, как реагировала Юния на происходившие в чувствах Бориса перемены; впрочем, Лэм в самом начале романа Бориса с Хелен Мейтленд заметил: “Бедная Юния... Она на себя не похожа – раздражена и очень нервничает!”

В 1910 году сам Лэм занялся Оттолайн Моррелл, и однажды Борис даже одолжил им свою студию на бульваре Апаро, чтобы страсть их была утолена. Леди Оттолайн, привыкшей к комфорту, изысканности и услугам горничной, простая парижская студия, должно быть, показалась поистине спартанским пристанищем, пусть и романтическим. Эта худая как щепка аристократка шести футов ростом являла собою поразительное зрелище – орлиный нос, напоминавший своей изломанностью боксерский, и восхитительные наряды, похожие на декорации русского балета, гремевшего в Париже в 1909 году. Британская толпа в изумлении расступалась, когда леди Оттолайн шла по Тоттнем-Корт-роуд в своем варварском великолепии.

Оттолайн подружилась с Юнией и в марте 1911 года пригласила ее погостить в своем загородном доме Пеппард в Оксфордшире, где Лэм писал портрет хозяйки. “Она была белокурым очаровательным существом, похожим на ребенка, – пишет Оттолайн о Юнии. – Очень русская, веселая и умная. Мы стали большими друзьями. Она была куда умнее большинства англичанок”. По-видимому, Юния, помимо прочего, помогала ей совладать с раздражительностью Лэма. Однажды, например, когда Лэм заявил, что прядь волос у позирующей совершенно не на месте, Юния велела ему не говорить глупостей. Такой выговор порадовал Оттолайн.

Запутанные любовные отношения были в ту пору делом обычным. В том же году, несколько позднее, Оттолайн убеждала Лэма, что у нее достаточно любви, чтобы ее хватило и на него, и на Бертрана Рассела. Лэм, естественно, начал ревновать и приказал ей возвращаться в Париж. К письму Лэма Борис присовокупил и собственную просьбу:

Не могли бы Вы в течение нескольких дней пренебречь своими домашними обязанностями и посредством такого преступления доставить нам радость, которую теперь затмила мрачная хандра?

Именно в это время Борис приобщился к богемному образу жизни: атмосфера южного берега Сены вполне соответствовала его наклонностям. Он любил простоту в повседневной жизни, и, несмотря на то что вырос в богатой семье, роскошь была для него необязательна, хотя и приятна. Он всегда был готов влюбиться, не задумываясь о последствиях; вместе с тем в нем формировалась уверенность в своем мужском превосходстве и в праве мужчины подчинять себе женщину. Его дух и плоть жаждали женщин, на что, возможно, повлияли воспоминания о ласковой няне брата и крайняя холодность матери. Однако главным образом его увлеченность женщинами происходила из непоколебимой уверенности в том, что все они созданы исключительно для него.

Разочаровавшаяся в Генри Лэме, злившаяся на его скверный характер и потерявшая из-за его измен уверенность в себе, Хелен Мейтленд была польщена и обрадована ухаживаниями обаятельного и энергичного русского. Когда они встретились впервые, Хелен со своей очаровательной насмешливой улыбкой сказала Борису что-то язвительное, чем привлекла его к себе еще больше. Она снимала небольшую квартиру недалеко от Пантеона, из окон

которой были видны пять куполов. Ее воспоминания об этом жилище пронизаны радостью, и кажется, что, живя там, она была счастлива.

Демонстрируя свои чувства новой возлюбленной, Борис быстро выучился играть на фортепьяно, чтобы иметь возможность аккомпанировать ее пению. Продолжая утверждать, что у него нет склонности к музыке, Борис тем не менее владел фортепьяно и виолончелью – у него были талантливые руки и хорошая голова.

Может, Лэм и надеялся вернуть себе Хелен. В 1911 году, когда Оттолайн уехала из Пеппарда, он поселился в маленькой деревенской гостинице “Дог-инн”, используя в качестве мастерской обширный каретный сарай. Томясь по уехавшей великосветской любовнице, он написал ей: “Я жажду покрыть твоё тело своим”, добавив, впрочем, что подумывает пригласить к себе в гостиницу Хелен. Вскоре Оттолайн вернулась и привезла с собой писателей-“блумс-берийцев” – Дезмонда Маккарти, Клайва Белла, Вирджинию Стивен¹⁵ и Роджера Фрая. Приехала в “Дог-инн” и Хелен – только, к несчастью, вместе со своим новым любовником, Борисом Анрепом, – и Лэм возненавидел весь мир.

Борис был очарован английскими интеллектуалами, ставшими его новыми друзьями, однако, несмотря на их влияние, сохранял в своих обычаях полную независимость. Этот человек был полон *joie de vivre*¹⁶ и бьющей через край энергии. Самовлюбленный, он носил экстравагантные костюмы и цветистые галстуки в романтическом стиле. Белокожий мужчина атлетического сложения с длинными руками и ногами был явно доволен собой. Его руки напоминали руки мясника или средневекового рыцаря, с детства обученного владеть огромным мечом; у него была мощная шея, бледное лицо, прекрасный нежный рот, серо-голубые глаза, полные щеки и едва намеченные брови, красноречиво и изящно выражавшие то веселую заинтересованность, то презрение, то восхищение. Он был уверен в своих чувствах и никогда не боялся их проявлять, будь то радостный хохот, вопли ярости, мрачное уныние или страсть к работе: одно сменяло другое совершенно естественно. Только когда он наблюдал или ждал, трудно было понять, что у него внутри, – он вдруг овладевал собой, закрывался, давая понять, что не позволит лезть к себе в душу.

Как-то Лэм в письме к Литтону Стрэчи процитировал одно из ярких стихотворений Бориса, на что 5 января 1911 года получил от Стрэчи ответ: “Цитата из Анрепа! Я подумал про себя (с некоторой злостью, но что поделать): «Так-так, посмотрим, на что в самом деле способен этот замечательный человек», а потом стал читать, и когда дочитал до конца, то распростерся у его ног. Храни нас Боже! Но не подправил ли ты у него кое-что? Хотя никакой правкой такого не добьешься. Он что, Достоевский? Или все русские обладают столь мощными способностями? Я ослеплен – и уничтожен – так это восхитительно. Орфография близка к гениальной¹⁷. Однако, полагаю, нам не следует продолжать это знакомство”.

Позже Лэм писал: “Когда-нибудь ты непременно должен познакомиться с Анрепом, хотя бы для того только, чтобы пережить ужас, узнав от него, как Нижинский пожимает руку”. На это Стрэчи ответил:

Я определенно мечтал об этом божественном мальчике для любовных утех, воображая его бесконечно изящным и утонченным, но, когда получил твою зарисовку, – *mon dieu!*¹⁸ – какая непомерная похотливость! Говоришь,

¹⁵ Вирджиния Стивен, впоследствии вышедшая замуж за Леонарда Вулфа, прославилась как модернистская писательница Вирджиния Вулф. Вокруг нее, а также писателя Э. М. Форстера, Л. Стрэчи, философа и математика Б. Рассела, экономиста М. Кейнса сформировалась Блумсберийская группа (по названию лондонского района Блумсбери, где жила Вирджиния Стивен).

¹⁶ Жизнерадостность (*фр.*).

¹⁷ По-видимому, намек на орфографические ошибки, которые были свойственны Анрепу в первые годы жизни в Англии.

¹⁸ Боже мой! (*фр.*)

Анреп с ним знаком? О! О! Быть знакомым с таким существом! Но неужели он действительно может так выглядеть?

Тридцатидвухлетний Стрэчи впервые встретился с двадцатидевятилетним Борисом в 1912 году. Питавший пристрастие к плотным молодым блондинам, Стрэчи влюбился в Бориса, которому забавно было обнаружить в себе подобие некоего ответного чувства, хотя любовь к женщинам всегда была в нем намного сильнее. Он никогда не мог удержаться от обращенных к дамам соблазнительных нежных речей и улыбок, от заинтересованного и оценивающего взгляда, говорящего о том, что он непременно дожидется благоприятного момента и нанесет удар. Он был прирожденным совратителем и прирожденным тираном, жадным до всяческих удовольствий.

Вот что Стрэчи рассказывал Генри Лэму:

Вчера я послал тебе короткую записку – с намерением пощекотать твое любопытство по поводу Анрепа – я был прямо-таки ошеломлен! По какой-то причине мне он представлялся гораздо старше и суше. Когда он приехал в Трон-Холл [дом Оттолайн Моррелл на Бедфорд-сквер в Лондоне] (а я явился туда специально, чтобы его увидеть – он прибыл в Лондон вместе с женой на день-другой), я был ослеплен. Мне не удалось поговорить с ним с глазу на глаз, но ясно, что он совершенно божествен. Полагаю, отчасти тут дело в физическом здоровье, которое он излучает, но это далеко не все: его разум, похоже, наделен тем же качеством – или это его душа? Конечно, он много говорил... и вдруг прочел нам длинную лекцию о русской поэзии с древнейших времен и до наших дней, по ходу дела забравшись на стул. Мне понравилось ВСЁ, но я подумал, что, наверное, всего слишком много. На завтра я встретился с ним в галерее Графтон, и он показывал мне русские картины, пускаясь в длинные объяснения. Это было весьма интересно, и я считал за честь быть его спутником. К несчастью, мерзкий Маккарти тоже был там – не отходил от нас ни на шаг, – поэтому мне так и не удалось поговорить с Анрепом с глазу на глаз. Думаю, я ему понравился. Он сказал, что удивился, когда увидел, что я... румянее, чем на твоём портрете. Вижу, что было бы практически невозможно что-то ему объяснить, но вижу также, что это не имеет никакого значения. При прощании он так божественно мило на меня посмотрел! Он уехал обратно в Париж. Блумсберийская братия отнеслась к нему отвратительно, включая, к сожалению, и Дункана [Гранта]. Похоже, их близорукость заразительна. Я не пишу о его картинах, выставленных в галерее Графтон, поскольку там были в основном те, что ты уже видел. Есть, правда, одна новая и в ином стиле – намного больше других и очень изящная, но на мой взгляд, слишком похожая на иллюстрации.

Двадцать третьего ноября 1912 года Лэм отвечал Стрэчи:

Я никак не ожидал, что ты будешь очарован им так быстро. Ура! Все эти годы только я и верил в его славу и принимал на себя груз его недостатков, но быть одиноким энтузиастом очень неудобно. Я боялся, что ты встретишь его в состоянии раздражения и станешь задирать нос, как наши друзья-блумс-берийцы.

Лэм, как и многие другие, часто менял свое отношение к Борису. Всего несколько месяцев спустя он писал Стрэчи: “Когда следующий раз увидишь Анрепа в одном из своих вонючих притонов, будь любезен, скажи ему от меня «Merde»¹⁹”.

¹⁹ “Дерьмо” (фр.).

Глава восьмая

“Измы”

Сначала 1900#х годов вплоть до Первой мировой войны художественная жизнь в Париже была ключом. Там публиковались такие эксцентричные писатели и поэты, как Пруст, Кокто, Стайн и Аполлинер. Сати писал музыку под названием “Хромая прелюдия для собаки” и “Пьесы в форме груши”, поражающую и тревожившую слушателей своими диссонансами. Публику шокировали фовизм Матисса и Вламинка, кубизм Брака и Пикассо. Борис в те годы Пикассо обожал, хотя позже звал этого маленького, жесткого, черноглазого испанца, у которого никогда не было недостатка в новых идеях, шарлатаном. Гертруда Стайн, мудро предвидевшая мощь Пикассо и воздавшая ему должное за то, что он одним из первых понял разницу между веком девятнадцатым и двадцатым, писала: “Двадцатый век – это время, когда все ломается, уничтожается и разъединяется. Время, гораздо более значительное, чем те эпохи, когда все обстоит нормально и течет, повинувшись логике”.

В мировом искусстве того периода процветали всевозможные “измы”. Кроме кубизма и фовизма, были еще реализм и экспрессионизм, символизм и постсимволизм, импрессионизм и постимпрессионизм. Борис не был знаком с ведущими французскими художниками, но какой молодой человек, вырвавшись из косной, душной атмосферы Петербурга, смог бы устоять перед той стихией художественной игры, которая захватила в те годы парижские кафе и студии? Жизнерадостной, свободолюбивой и анархической натуре Бориса атмосфера Франции глубоко импонировала.

Появление русского балета подарило Европе новый предмет восхищения. И Борис, полагавший, что отечественный балет годен только для старых генералов и маленьких детей, был, наверное, рад его успеху, хотя личные его пристрастия были отданы Айседоре Дункан с ее свободными и простыми неогреческими импровизациями.

Премьера в 1913 году балета Стравинского “Весна священная” с участием Нижинского вызвала невероятный скандал. В театре на Елисейских полях музыку освистали с первых же аккордов, и тогда французский импресарио Астрюк наклонился над залом из своей ложи и, грозя кулаком, закричал публике: “Сначала послушайте – потом свистите!” После этого господы и дамы во фраках и вечерних туалетах принялись тузить друг друга. Одни балет защищали, другие проклинали, действие же между тем продолжалось, утопая в страшном реве. Эта сцена, наверное, позабавила бы Бориса, случись ему присутствовать в театре. Яркое оформление других балетов, выполненное Бакстом и, по словам Кокто, “забрызгавшее красками весь Париж”, несомненно, было оценено Борисом по достоинству.

Леон Бакст, чей нос Стравинский сравнивал с носом комедийной маски венецианского карнавала, был русский еврей. Со свойственным ему лукавым юмором Борис рассказывал историю женитьбы Бакста. Для того чтобы поселиться в Москве или в Петербурге, еврей Бакст женился на богатой русской даме и крестился. Но к христианству он хотел приобщиться в самой минимальной степени, поэтому сначала явился в Британское посольство в расчете сделаться протестантом. К сожалению, капеллана на месте не оказалось, и Баксту пришлось принять православие. После чего он пришел к раввину.

– Понимаю, что должен быть ненавистен вам за то, что совершил, – сказал он, – и, быть может, вы не пожелаете со мной говорить, но я хочу задать вам лишь один вопрос.

– Спрашивай.

– Когда я умру, я попаду в еврейский или православный ад?

– Твоя мать была еврейка?

– Да, моя мать была еврейка.

– Значит, ты попадешь в еврейский ад.

Бакст был счастлив. Для него не имело значения, что происходит сейчас, но вот что будет с ним за гробом, волновало его чрезвычайно.

Борис получал странное удовольствие, повествуя о подпорченной репутации христианина Бакста, но вместе с тем испытывал своеобразное уважение к умению этого человека преодолевать препятствия, вызванные его национальной отверженностью.

Оторвавшись от русского общества, Борис обрел в Париже новые стимулы для своих честолюбивых планов.

Его целью было искусство в широком смысле – картины и стихи. Поэтому в 1912 году, по своей склонности к “духовным абстракциям” и символизму, Борис вернулся к изучению искусства Византии и одного из его главных направлений – мозаики. Пьер Руа, с которым он обсуждал свои устремления, предложил ему отправиться на парижскую фабрику Эбея и изучить там технологию создания мозаик.

Талант и способности Бориса поддержал Роджер Фрай, признанный авторитет в художественных кругах, автор журнала “Берлингтон Мэгэзин”. Фрай пригласил Бориса участвовать в организации русского раздела Второй выставки художников-постимпрессионистов в галерее Графтон, и Борис поехал в Москву и Петербург отбирать картины. Там он столкнулся с трудностями, так как довольно быстро понял, что в России никаких постимпрессионистов попросту нет. Однако он все же отобрал работы Ларионова, Гончаровой, Стеллецкого, Рериха и Головина, добавив к ним шесть собственных произведений. К несчастью, картины Ларионова и Гончаровой прибыли уже после открытия выставки, и Фрай был разочарован отсутствием русской живописи, выполненной в современном стиле.

Вот отрывок из написанного Борисом “Введения” к выставочному каталогу, где говорится о работах русского раздела:

Русская духовная культура сформировалась на основе смешения ее исконного славянского характера и византийской культуры, а также культур различных азиатских народностей. В более поздние времена заметное влияние на русскую жизнь оказала Европа, однако она не захватила русского сердца, в котором по-прежнему струится восточная, славянская кровь. Одной из особенностей восточного искусства является склонность к декоративности в трактовке натуры, ее идеографическому изображению и оригинальному рисунку. Романское и готическое искусство Западной Европы имеет во многом сходный характер, однако европейское искусство тяготело к натурализму, русское же настойчиво придерживалось древних традиций. Влияние Византии имело огромное значение для России, ибо оттуда пришел свет христианства. Вместе с религиозными верованиями и обрядами в русскую жизнь вошли византийские символические изображения Божественного, реализованные в образах, именуемых “иконами” и созданных для религиозных целей. Каноны древней иконописи оставались единственным в стране живописным языком до конца семнадцатого века, а само искусство носило исключительно религиозный характер и регламентировалось особыми правилами. В восемнадцатом веке русские живописные формы испытывают на себе сильное европейское влияние и с тех пор начинают следовать европейским идеалам. В настоящее время западное влияние рассматривается людьми, приверженными национальной идее, как несовместимое с глубинными устремлениями русской души. Художники, исполненные восхищения перед красотой и выразительностью древнерусского искусства, видят свою цель в том, чтобы его продолжить, минуя западное влияние, которое

считается чужеродным и губительным для расцвета восточных мотивов в русском искусстве. Главной отличительной чертой их собственного творчества является декоративная и символическая трактовка природы в сочетании с оригинальными цветовыми решениями, что, как им кажется, в наибольшей мере отвечает их русской душе. Только последние пятнадцать лет видные художники работают над возрождением национального искусства. Ближе всего к древним формам подходит г#н Стеллецкий. Его произведения – это не копии икон, а результат исчерпывающего знания всех тех возможностей, которые дает древнее искусство; он использует древний алфавит, лучшее средство, считает он, для проявления своего художественного воображения. Граф Комаровский обладает не меньшим талантом, но его краски и формы нежнее и чувствительнее. Г#н Рерих принадлежит той же новой “византийской” группе, хотя полностью не принимает иконные формы. Возможно, воплощая в своей оригинальной манере суть русского религиозного и фантастического духа, он добился успеха более других. Воображение уносит его все дальше к заре русской жизни, и он передает эмоциональное ощущение доисторических славянских язычников.

Г#жа Гончарова не воспроизводит в своем искусстве силу и декоративно-каллиграфические качества иконописи, но она стремится к истинному изображению древнего русского Бога, которого считает своим, и Его святых. Поэтому сладость, нежность, радость и чувственность так же далеки от ее искусства, как далеки они от русского понимания Божественного. Ее святые непреклонны, суровы и строги, тверды и ожесточенны. Возрождение русского национального искусства пробудило у некоторых художников интерес к современному народному искусству, искусству необразованного люда, рисующего для собственного удовольствия и таким образом раскрывающего свой простой, свежий и наивный дух. Эти художники приобщились к народному искусству и испытывают радость от его искренней прямоты. Их творчество приветствуется как противовес слишком изысканным и изнеженным вкусам влиятельной группы эстетствующих “гурманов” Петербурга. Во главе таких “примитивистов” стоит г#н Ларионов.

Этот отрывок позволяет понять творческую направленность самого Бориса, показывает, насколько глубоко повлияли на него иконы и формы культа, принятые в его стране, хотя он и не принадлежал Православной Церкви. Нас трогает то, как много для Бориса значила эта аморфная субстанция, русская душа. Ни один англичанин никогда бы не стал говорить в подобных выражениях о душе своего народа, даже о самой возможности народа иметь такую общую для всех сущность. Ближе всего к столь примитивному ощущению понятного, но бессознательного явления, называемого “душа”, стоит национализм, который, впрочем, есть нечто совсем иное.

На выставке были представлены следующие шесть работ Анрепа:

1. Аллегорическая композиция (из собрания леди Оттолайн Моррелл).
2. *L'Arbre Sacre*²⁰ (из собрания леди Оттолайн Моррелл).
3. Запустение.
4. *L'Homme construisant un puits pour désaltérer de bétail*²¹.

²⁰ “Священное дерево” (фр.).

²¹ “Человек, строящий колодец, чтобы напоить скот” (фр.).

5. Проект стенного украшения.

6. Физа, играющий на арфе.

Выставка, как всегда, вызвала ожесточенные споры. Франсес Сполдинг пишет в биографии Роджера Фрая, что сильнее осуждения работы Уиндема Льюиса²² были только презрение и непонимание, предназначенные для кубизма Пикассо: “Однако шок, ужас и смещение, вызванные этой выставкой, не помешали ее финансовому успеху”.

Финансовый успех, правда, не коснулся Бориса. Мне не удалось разыскать ни одной из выставленных им картин, хотя должна существовать акварель, перешедшая по наследству внуку Оттолайн Моррелл.

²² Льюис Перси Уиндем (1884–1957) – английский художник и писатель, основатель вортицизма (ответвления кубизма).

Глава девятая

Друзья в Париже и Лондоне

Крепла дружба Бориса с Пьером Руа. За годы их знакомства Борис купил или получил от художника в подарок шесть живописных полотен, среди которых собственный портрет маслом, написанный около 1909 года. Это большая картина, размером в один квадратный метр, на которой Анреп-поэт изображен в несколько неряшливом лавровом венке. На Борисе, сидящем, свободно откинувшись, в плетеном кресле, белый шелковый шарф, завязанный на груди бантом. Из-под сложенных крупных рук выглядывает красная “Книга Анрепа”. Картина написана в смелой, свободной и гораздо более раскованной манере, чем последующие работы Руа, выполненные в сюрреалистическом стиле. В лице заметна присущая Борису нервная энергия и решимость в странном соединении с немного скептической ухмылкой.

“Книга Анрепа” представляет собой поэму, снабженную иллюстрациями в виде акварелей с причудливыми узорами и картинками; стихи же звучат весьма своеобразно – английским автор владел далеко не в совершенстве. Поэма была опубликована в сентябре 1913 года лондонским книжным магазином “Поэтри букшоп” в своем ежеквартальном журнале “Поэзия и драма” (“Poetry and Drama”) с черно-белыми гравюрами на дереве. Первоначальный вариант с цветными иллюстрациями, расположенными посреди и вокруг текста, был гораздо более впечатляющим. Они были замечательны своей яркостью, страстностью и великолепием.



Пьер Руа. Портрет Бориса Анрепа, ок. 1909 года.

Появление гравюр объясняется в небольшой заметке, написанной главным редактором Харолдом Манроу:

Мы публикуем стихотворение под названием “Предисловие к «Книге Анрепа»” и в данном случае отступаем от наших обычных принципов, предлагая его читателю в иллюстрированном виде. Это сделано по настойчивому желанию автора, который хочет сохранить в издании своей работы единство идеи, присущей общему замыслу и имеющей как литературную, так и пластическую природу. Со своей стороны, мы рассматриваем это стихотворение как произведение самодостаточное и при обычном течении дел издали бы его без каких-либо иллюстраций. Автор, однако, в данном вопросе остался непреклонен, поэтому мы, решив не отказываться от возможности познакомить читателей с книгой, подчинились его желанию.

Цитировавшиеся выше стихи Бориса, весьма странные и витиеватые, должно быть, поразили редактора до такой степени, что он отважился их напечатать. Решение Манроу было для Бориса очень важным. В том же номере журнала мы встречаем имена Эдварда Томаса, Ласселлса Аберкромби, Эрнеста Риса, рецензии на стихи Элис Менелл, “Павлиний пирог” Де Ла Мара и “Золотой путь в Самарканд” Флеккера.

Отношения между Борисом и Юнией становились все более натянутыми, и летом 1912 года Юния уехала в свое минское имение, Борису же было приказано принять участие в военных маневрах неподалеку от Петербурга. Там он и получил письмо от Хелен с сообщением, что она ждет ребенка. Через два месяца Борис и Юния вернулись в Париж, но Хелен там уже не было. Госпожа Мейтленд, возмущенная случившимся с дочерью, увезла ее в Лондон и поместила в монастырь “Голубых сестер” в районе Патни. Там обычно принимали незамужних беременных женщин.

Борис как раз был занят подбором русских картин для Второй выставки постимпрессионистов. Он забрал Хелен у монашек, отвез назад в Париж и поселил в маленькой комнате, расположенной над студией. Перед ним был пример Огастеса Джона, чьи жены, любовницы и дети часто жили одной семьей.

Смена любовниц и любовников, несомненно, представляла собой занятные хитросплетения в этом богемном мире. Генри Лэм жонглировал своими дамами, как заправский фокусник. У его жены Юфимии уже был роман с Огастесом, когда сам Лэм влюбился в жену Огастеса Дорелию, и их отношения длились, между прочим, более двадцати лет. Через некоторое время у Огастеса начался роман с леди Оттолайн Моррелл, которая потом перешла к Лэму, а тот между тем переживал агонию в отношениях с Хелен Мейтленд. Борис влюбился в Хелен, переключившуюся, в свою очередь, с Лэма на русского. И Хелен, и Оттолайн были в восторге от талантов Лэма, но страдали от его безобразного характера и, судя по всему, не могли вынести его ядовитого языка. Единственным выходом для обеих было найти других любовников.

Вплоть до 1914 года Лэм постоянно присутствовал в светской жизни Бориса. Именно он познакомил Бориса с Огастесом и кружком, сформировавшимся вокруг семейства Джона в Челси, а также с Литтоном Стрэчи и блумсберийцами, среди которых были сестры Вирджиния и Ванесса Стивен, Роджер Фрай, Дункан Грант, Дезмонд Маккарти и Мейнард Кейнс.

В Челси женщины играли вспомогательную, подчиненную роль, они нужны были лишь как сексуальные партнерши, участницы светской жизни и домохозяйки. В Блумсбери же женщины занимались собственным делом, и им не нужно было греться в лучах славы своих мужчин.

В понимании Бориса, пальма первенства, несомненно, принадлежала мужчинам, поэтому и в эмоциональном, и в интеллектуальном плане он был ближе к кружку в Челси. И все-таки, несмотря на соперничество этих молодых художников и их женщин, кажется, вражда между ними постепенно проходила, и со временем все становилось более покладистыми, не испытывая уже ни особой злобы, ни убийственной ревности.

Возможно, Юния не была в восторге от приезда Хелен и *ménage à trois*, но вела она себя благородно. Тот факт, что сама она была бесплодной, наверное, объясняет ее примирение со сложившейся ситуацией.

Я всегда чувствовала, как удивительно добра была ко мне Юния, позволившая мне жить вместе с ними, – писала Хелен, – но, насколько я знаю, моя мать прочитала ей длинную и страстную лекцию, призывая немедленно уйти из семьи. У Юнии никогда не было детей, и ей очень хотелось считаться матерью моего ребенка, но я даже слышать об этом не могла, и вскоре у меня родилась дочь.

Борис писал Хелен из Петербурга, что отправляет в Лондон семьдесят живописных работ и рисунков и что в воскресенье он будет, возможно, играть в теннис. “Я люблю тебя. Мучаю кошку. Ненавижу свою работу. Люблю тебя ОЧЕНЬ. Поцелуй Юнию и ребенка”.

Женщины ладили между собой неплохо. Хелен вообще была человеком отзывчивым и всегда проявляла сочувствие к другим, стоило кому-то чихнуть или пожаловаться на головную боль. Она многих согрела своим добрым сердцем.

Когда в декабре 1912 года родилась Анастасия, Борис в письме сообщил об этом отцу. Ответа не последовало, но деньги продолжали поступать, как и раньше. Помощь отца была весьма существенной для Бориса, поскольку теперь ему приходилось содержать двух женщин и ребенка, а кроме того, платить за обучение в Академии Жюльен, куда он продолжал ходить параллельно с работой на фабрике Эбея.

В это время он был чрезвычайно увлечен мозаикой. Этот вид искусства как раз соответствовал творческим амбициям человека, понимавшего, что ему хорошо дается дизайн, и стремившегося создавать масштабные произведения. Мозаика требовала также от художника физической силы, проявление которой было для Бориса естественно и даже приятно. На фабрике он сделал три мозаичных плиты, которые, как он признался позже, были “подражательными и примитивными”.

По протекции Огастеса в октябре 1913 года состоялась персональная выставка Анрепа в галерее “Ченил” в Челси. Здесь были выставлены рисунки, акварели, гуаши, три панели мозаики и две вышивки, созданные по рисунку художника Юнией фон Анреп. Также была выставлена рукопись “Предисловия к «Книге Анрепа»” в кожаном переплете, оцененная в 100 фунтов. Предисловие к каталогу написал Роджер Фрай, что говорило о многом, ибо Фрай, являясь весьма влиятельным художественным критиком, был придирчив в своих оценках и никогда не хвалил работы только потому, что это работы друзей или знакомых.

Борис Анреп – это русский художник, который работает в Париже, – писал Роджер Фрай. – С Востока он несет нам осознание своей духовной жизни, выраженное гораздо ярче и точнее, чем принято у людей западной цивилизации. По темпераменту и склонностям он символист. Но если бы он был замечателен только этим, вряд ли его творчество произвело бы на нас впечатление. Его знакомство с жизнью и искусством Запада научило его делать символ выразительным независимо от того, что этот символ обозначает. Для него это символ, для остальных – выразительная форма. Символизм Анрепа есть ядро, вокруг которого, как кристаллы, вырастают художественные образы, ядро, являющееся стимулом его творческих усилий. Начинает он с идей, которые могут быть выражены словами (как часто и случается, потому что Анреп – поэт, пишущий и по-английски, и по-русски); но когда он берется за художественное изображение, то переходит от идей в ту область, где их точный смысл оказывается не важным. По своей сути, Анреп – художник. Сосуществование в одном человеке художника и символиста мы наблюдаем не так часто – чаще символизм искажает и портит искусство. Я не утверждаю, что в творчестве фон Анрепа символизм и искусство всегда совместимы. Временами я замечаю голову или руку, написанные чересчур экспрессивно или слишком подробно, чтобы стать естественной частью картины как единого целого, но художник может с поразительной силой преобразовывать ощущения своего религиозного опыта в зримые формы.

Большинство современных художников черпают вдохновение из созерцания внешних явлений. Фон Анреп, как мне кажется, – из движений своей внутренней жизни. Среди английских художников мы можем заметить нечто подобное у Блейка, и посетитель выставки наверняка вспомнит этого художника, но не столько из-за формального сходства, сколько благодаря несомненно схожим методам. Конечно, такая манера сопряжена

с определенными опасностями, но имеет также и ряд преимуществ. Среди последних мы отмечаем отсутствие суетной натуралистической мелочности, оказавшейся столь губительной для большей части современного искусства. Увлеченный своими видениями, фон Анреп обычно лишь в общих чертах намечает движение фигуры. Он видит фигуры как целостные, самодостаточные, объемные элементы общего рисунка; они становятся выражением единого, легко воспринимаемого ритма; более того, художник с поразительной легкостью улавливает отношения элементов между собой. Во многих его работах все сводится к решению отношений между двумя единицами движения. Возможно, кому-то такая задача покажется простой, однако художники заметят, как ярко демонстрирует фон Анреп свое умение ее разрешить. Он делает это снова и снова, не впадая, впрочем, в однообразие и без видимого напряжения, которые могли бы быть сопряжены с его новаторским подходом.

Следует отметить еще одну поразительную особенность, а именно редкую чувствительность фон Анрепа к материальной красоте своих произведений. Стремясь выразить свои ощущения, он в совершенстве овладел некоторыми техническими приемами, рождающими оригинальную манеру – особый стиль картин, выполненных гуашью, совершенно новое и замечательное владение китайской тушью, сочетающее в себе туманное изящество рисунка размывкой с некой плотностью и обстоятельностью, присущей работам, выполненным маслом, наконец, мозаичные произведения, при создании которых использовались три различные техники. В современном искусстве редко встретишь такое ценное качество. Художники в большинстве случаев вполне довольствуются вторичной красотой, производной от привычных им средств, и не придают большого значения технической изобретательности. Такое обращение с материалом, какое мы наблюдаем у фон Анрепа, свидетельствует о религиозности художника, и еще в большей мере оно характеризует религиозное искусство Востока, Византии и Китая. Оригинальность работ фон Анрепа, таким образом, представляется нам прямым следствием его темперамента и национальной принадлежности.

Связи с блумсберийцами становились теснее, и в 1913 году Борис и Стрэчи общались все с возрастающим удовольствием. В июне Стрэчи писал Лэму: “Незапланированный ленч с Анрепом – пышущим здоровьем и излучающим радость жизни, как никогда. Весьма мил и обаятелен – и совсем не скучен”.

В июле Стрэчи вновь пишет Лэму из дома Леонарда Вулфа в графстве Суссекс и повествует о светском водовороте, в котором кружился.

Итак, поскольку пишу тебе наспех, попробую предложить твоему вниманию главу “Об Анрепе”, которой, по совести, следовало бы занять страниц сорок ин-фолио. Он появился в моем “тире” [лондонская квартира Стрэчи] в десять утра в прошлый вторник. Я принял его, лёжа в постели. Он сразу же начал говорить о тебе и об искусстве, и так продолжалось до часу дня. Но к этому времени мы уже были в районе Мекленбург-сквера – он заставил меня встать, одеться и отправиться туда вместе с ним на втором этаже автобуса – причем поток его речей ни на секунду не прекращался.

*Mon dieu!*²³ Временами я испытывал ужасную усталость; но постепенно стало полегче. Он сказал, что собирается написать тебе – интересно, написал ли? Просил, чтобы и я тоже отправил тебе письмо и изложил все им сказанное. Я согласился, оговорив, впрочем, что добавлю к его словам собственные комментарии. Все его обвинения вкратце сводятся к тому, что ты не являешься П-И [постимпрессионистом] в полной мере. Таков был итог его рассуждений, и хотя я слушал очень внимательно, никакого смысла во всем этом не уловил. Большая часть его разглагольствований показалась мне не относящейся к делу. Кажется, он полагает, что хорошо писать можно только в одной манере – византийско-иконного постимпрессионизма, а поскольку в твоём творчестве ничто не свидетельствует о выборе именно этого пути (особенно в портрете Кеннеди), ты находишься в опасном положении. Рассуждая об искусстве вообще, он говорил много ерунды в духе Роджера, Клаттона и Брока, которую конечно же я знаю наизусть, чем привел меня в сильное раздражение. Какой это ограниченный, холодный, невеселый, доктринерский взгляд! В своём недовольстве я мысленно награждал его всеми этими эпитетами, но недолго, потому что было бы нелепо на самом деле считать его таким человеком. С ним очень трудно спорить, и мне пришлось довольствоваться лишь злобными выражениями несогласия, время от времени прерывая его речь, – но я вложил в них как можно больше яду. Возможно, моё поведение было слишком вольным, но как иначе заставить его тебя заметить? Анреп, однако, был удивительно мил. В конце концов, сидя в автобусе, он, кажется, отказался от большей части всех этих глупостей и стал говорить о значении страсти, утверждая, что художник должен писать со страстью. Я согласился, но никак не мог заставить его понять, что трудность-то как раз и состоит в том, КАК эту страсть выразить. Заключил он тем, что я должен передать тебе от его имени, чтобы ты верил в страсть. Да, но *mefie-toi de la passion facile!*²⁴

Не знаю, передал ли я тебе все мои ощущения в полной мере, гораздо легче было бы изложить их в личной беседе, но, думаю, тут нет ничего для тебя нового. В тот же день я вновь встретился с Анрепом в Трон-Холле, и на этот раз он с большим удовольствием обсуждал МЕНЯ, утверждая, что моё призвание – стать эссеистом, а потом объяснил мне, кто такой эссеист. Оказалось, его очень приятно дразнить. Не ты ли говорил, что дразнить его невозможно? Что касается его физической привлекательности, то я не увидел даже её тени. ПОТОМ наконец он дал мне своё стихотворение, я прочел его, и мы расстались. На следующий день я написал ему длинное письмо с критическим разбором этого стихотворения. Надеюсь, оно было не слишком злым. Но я решил, что пора ему понять, что, каким бы ни было его творение, оно написано не на английском языке. Именно так я ему и сказал.

На этом главу “Об Анрепе” кончаю. Глава “О Джоне” будет короче. Этот негодный тип так и не пришел в тот вечер в “Кафе-рояль”! Я ждал, ждал – и все зря. Поев, я отправился в Трон-Холл и, как оказалось, попал прямо в разгар обеда – перед моими глазами предстали ослепительные

²³ Боже мой! (*фр.*)

²⁴ Не доверяй легкой страсти! (*фр.*)

Нортон, Вулфы, Каннаны, Анреп и княгиня Апраксина. Потом Оттолайн сообщила, что днем, вызванная телеграммой, была у Джона, который сказал, что не может меня видеть.

Осенью Литтон Стрэчи провел целый день с Борисом, блуждая по Лондону, виделся с ним и на следующий день. В ноябре он спрашивал в письме, что стало с человеком, который поклялся прийти к нему в гости – и не пришел. В декабре, пытаясь совладать со своей влюбленностью, Литтон писал Лэму: “Надеюсь, ты УЖАСНО СТРАДАЕШЬ из-за Анрепа”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.